

А. Милоченко.

**Петербургская  
осень**

Р  
35010



1945



**А. ИЛЬЧЕНКО**

**ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ОСЕНЬ**

**П О В Е С Т Ъ**



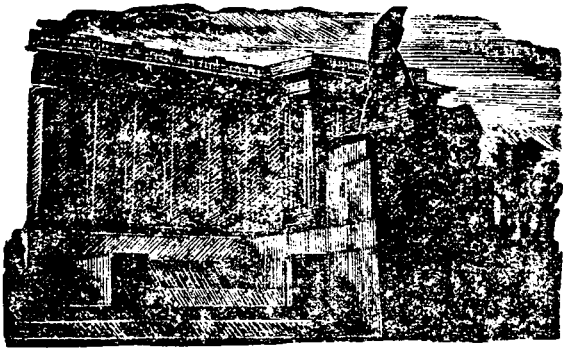
**О Г И З**

---

*Государственное издательство  
художественной  
литературы  
Москва  
1945*

ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО  
А. БЕЛЕЦКОГО И Р. САМАРИНА

ПЕРЕВОДЫ СТИХОВ Т. Г. ШЕВЧЕНКО  
СДЕЛАНЫ НИК. УШАКОВЫМ



*...А щось такеє бачить око,  
І серце жде чогось. Болить,  
Болить і плаче, і не спить...*

*Т. Г. Шевченка*

**Д**ушистые восковые свечи, связанные в пучок, горели с треском.

Пламя трепетало от дыханья и движений человека, державшего свечи в руке. Рука художника дрожала. На свечах торчала плотная бумажная воронка, чтобы расплавленный воск не обжигал пальцы. Рваный рукав чистой рубахи, мешая работать, сползал с локтя.

Мягкие тени округляли большую лысину, потемневшую от копоти. Огонь отливал золотом в светлых прищуренных глазах, играл в зеркале, на тубах с красками, на зажатой в тисочки лакированной медной доске.

Художник терпеливо коптил загрунтованную для офорта красную медь. Следил, чтобы пламя

касалось металла лишь подвижным языком, по-  
дальше от фитилей. В мыслях витал далеко...  
Дышалось тяжело. Может быть, от копоти и сы-  
рости. Может, от волнения... Ноздри широкого  
носа гневно раздувались. Закусывал седоватый  
ус и что-то шептал про себя.

Едва дождавшись, когда блестящая чёрная  
поверхность покрылась копотью, художник осто-  
рожно отложил доску и схватил тупой каран-  
даш.

Писал на чём пришлось, прямо на белой сте-  
не. Четыре строки легли на сырую штукатурку:

...щоб збудить  
Хиренну волю, треба миром,  
Громадою обух сталить,  
Та добре вигострити сокиру...<sup>1</sup>

Отирая со лба пот, взволнованный какой-то  
мыслью, он сокрушённо взглянул на следы ко-  
поти, оставшиеся на белом рукаве. Потом, задумавшись,  
долго смотрел в тёмное окно...

## 1

Во вторник, четырнадцатого октября 1858 года,  
поздним туманным вечером, на Неве, против  
Таврического дворца загорелись большие баржи  
с сеном, пришвартованные среди разного рода  
кораблей, которые со всех концов света собра-  
лись в столицу Российской империи.

Тарас Григорьевич Шевченко — поэт и худож-  
ник, отставной рядовой Оренбургского линейного  
батальона, — возвращаясь пешком с торжествен-  
ного и скучного ужина, устроенного в его честь  
землячкой, помещицей Ганной Гавриловной Бор-

---

<sup>1</sup> ...Чтоб разбудить больную волю, поскорее обух при-  
дётся закалить и наточить топор острее, и волю миром  
всем будить.

лакивской, видел с берега, как начался этот страшный пожар. Багровое пламя взлетело над баржами внезапно, взвыло и лизнуло небо, прогоняя ночь.

Тарас Григорьевич шёл берегом. Искры с реки несло на землю. Подогретый осенний ветер взвизгивал над Невой, рвал сюртук и серое пальто, жарко дышал в лицо, ворошил тяжело обвисшие усы поэта.

В пламени металась большая тень.

По пристани сновали люди, спасая от огня товары. Гремели стальные канаты, тяжёлые швартовы плюхались в воду. Несколько судов с зелёными и красными ходовыми огнями на бортах двинулись прочь.

Пожара никто не гасил. Команда, быть может, только ещё ехала откуда-нибудь от Лиговки, от главного бассейна, или тушила огонь в другом месте.

На берегу против Таврического дворца Тарас Григорьевич увидел толпу. Любопытство оживляло лица ночных прохожих; живые блики, красные и жёлтые, искажали черты. Люди рвались на помощь, но переправы близко не было. Старенький дьячок, покачивая грушевидной головой, рассказывал, что это ещё и не настоящий пожар, что лет тридцать тому назад сено загорелось возле Гагаринской пристани. Так вот тогда — страшно сказать — баржи пошли по Неве против течения, увлекаемые тягой огня и лёгким ветром с моря.

— А поджигателей не ловят! На заводе давеча тысяча восемьсот пудов пороху не сами же взорвались? — вмешался молодой паренёк.

Дьячок сердито посмотрел на парня и продолжал:

— Бог наказывает: вокруг Питера всё лето тучи дыма. Солнце и луна, как медные шары.

Горят торфяные болота, а от них — деревеньки, станции, леса. Бог наказывает. И опять же — комета!

Дьячка слушали бездомные и безработные каменотёсы, ночевавшие на берегу. Здесь же суетился кудрявый гостинодворский приказчик, сидел на деревянных вёдрах уставший за день водонос. Подошёл к толпе и молчаливый, быстроходный итальянец-шарманщик; обезьяна беспокойно вертелась на его покато плече.

Возле шарманщика весь вечер неотступно болтались трое оборванцев, портняжьих учеников.

Тарас, против обыкновения, даже не заговорил с ребятами. Его всегда пленяло пламя... И теперь, в огне, являлось ему чудесное видение, мерещился склонённый профиль девушки, о которой поэт мечтал как о желанной подруге, матери его белоголовых «серденят», хозяйке родного угла.. Мечтал, даже не осмелившись попытать счастья, — ни у неё, у Марины, ни у помещицы Борлакивской, которой принадлежала крепостная.

Тарас Григорьевич попробовал представить себе изумление на величественном лице Ганны Гавриловны при вести о нелепом сватовстве «славного по всей Славянщине» земляка к её воспитаннице и горничной, к её девке! Барынька, конечно, просияет, поблагодарит за честь, искренне удивится и попробует превратить всё в неуместную шутку. Всё это будет именно так! И поэт закрыл глаза...

За спиной кто-то всхлипнул. Тарас обернулся. Подле него стоял у самой воды паренёк лет девятнадцати, коренастый, стриженный в скобку, в длинной красной рубахе, похожий на господского конюха или кучера. Он взглянул Тарасу в лицо, чуть затенённое полями серой пуховой шляпы, в ясные глаза. Паренёк, очевидно, хотел



что-то спросить, но не решался побеспокоить господина.

— Барин, а барин?— всё-таки отважился он.— А огонь... может броситься дальше? Туда? — и паренёк показал рукой на Неву, туда, где перед величественным зданием Биржи собрались заморские корабли. Верхняя губа, по-детски оттопыренная, покрытая капельками пота, блестящими при свете пожара, вздрагивала.

— А что там, голубе, — спросил Тарас, — что там у тебя?

— Кони мои... На корабле.

— Твои?

В огне что-то взорвалось, заискрилось, и эхо прошло над ровным берегом.

— Мои. Я их выходил, а барин — за море их..? продал. И вот — пожар... А там Буян мой фыркает, копытами бьёт.

На ресницах заблестели слёзы. Тронутый его горем, Тарас Григорьевич протянул было руку, но конюх, не решаясь прикоснуться к господской руке, испуганно отпрянул.

— Ну? Как тебя зовут?

— Васькой, барин.

## 2

Оба остановились у переправы.

Толпа окружила толстяка-иностранца. Это был подвыпивший голландский шкипер, старик в клетчатой байковой рубаше. Борода у него росла прямо на шее, бахромой. В зубах дрожала погасшая трубка, на которую с подозрением поглядывал молодцеватый дворник: не дымится ли? Не от неё ли пожар? Питер, на две трети деревянный, очень страдал от огня. Первым средством борьбы с пожарами было запрещение курить на

улицах столицы. Всякого пойманного с папиросой или сигарой в зубах ждала суровая кара.

Голландец рвался к чьей-то прикованной щлюпке, о чём-то спрашивал зевак, указывая за скорузой рукой на цветные огни в лесу корабельных мачт.

— На его клипере мои кони, — вдруг встрепенулся паренёк.

Тарас тоже будто проснулся: он припомнил матросов того самого голландского судна, на котором лет шестнадцать, — да, шестнадцать лет тому назад, в 1842 году, — плыл из Швеции в Данию и дальше в Европу — посмотреть, как говорится, на свет божий, поучиться у заморских художников высокому мастерству.

Тарас подошёл ближе: кто знает — не тот ли это шкипер? Много утекло воды. И от него самого, от Тараса, что осталось? От того курчавого юноши, «постороннего воспитанника» императорской Академии художеств, который двинулся было в чужие края, да не выдержал морской качки, расхворался и, едва добравшись до Ревеля, сухопутьем вернулся домой, в Петербург.

Вспомнив всё это, Тарас даже крякнул от досады и уже хотел обратиться к старому шкиперу, но тут двинулись с места несколько пылающих барж: перегорели манильские «концы», державшие их у причала. Ветер выхватывал клочки горящего сена, бросал на соседние суда, нёс над притихшим городом.

Голландец, внезапно отрезвев, крикнул что-то и побежал вдоль берега. За ним помчался Васька.

Пылало множество барж. Теряя в огне якоря, они шли по течению. Поспешно разводились мосты, дворцовые солдаты пропускали к морю пловучие факелы.

Тарас двинулся было дальше, но снова увидел шкипера и молодого конюха. Они возвращались бегом к прикованной у берега шлюпке.

В руках у Васьки был большой камень. Ударив по цепи, сбив замок, паренёк столкнул старика в лодку. Не раздумывая, Тарас поспешил к ним, но поздно. Шкипер и конюх налегли на вёсла, направляя лодку прямо в огонь. Красная рубаха конюха трепыхалась на тёмной волне.

Ветер принёс запах горячей смолы. Горели корабельные снасти.

Внезапно разразился дождь.

### 3

Озираясь на зарево, вставшее над городом, Николай Дмитриевич Старов вступил под тяжёлые своды проезда, ведущего в один из дворов Академии художеств. По ступенькам взбежал без передышки и встал перед одностворчатой дверью. Здесь едва теплился закопчённый фонарь. Несло горелым маслом, потёки его были видны на стене.

Дерево и камень у входа в жилище поэта были густо исцарапаны гвоздём, исчерчены мелом, карандашом. Всякий, подымаясь по ступенькам, обращал внимание на дверь. Присмотревшись к надписям, можно было понять, что живёт здесь человек, у которого друзей,—и верных и лукавых,— как говорится, легион!

Надписи растекались по двери, краткие и выразительные. Не застав хозяина, гости записывали лучшие пожелания дому сему и отсутствующему поэту. Были там известные имена — Майков, Полонский, Щербина, Щепкин...

Дёрнув за щеколду, Старов заметил на двери

совсем свежие, выведенные мелом буквы: «Ушёл в гости. Буду поздно. Ключ у солдата. Тарас».

Николай Дмитриевич привычным движением откинул с округлого лба непослушную тяжёлую прядь и так же быстро сбежал вниз, хотя, собственно, спешить было уже некуда, — торопился по привычке.

В каком коридоре живёт старый Прохор, оставной солдат, служитель Академии, дядька, предоставленный Тарасу для мелких услуг, Старов знал хорошо. Но идти к старику не хотелось: солдат был строг и давать ключ не любил.

Старов прошмыгнул по тёмным и глубоким коридорам. Он не любил эти высокие своды, боялся ходить мимо натуральных классов: там в самых живых и непринуждённых позах стояли и лежали скелеты.

— Здравствуй, Аргус наш, Прохор Михайлович, — торжественно приветствовал Старов солдата, появившегося на пороге каморки.

Старик стоял у двери заспанный и сердитый. Вышел сразу же, после первого стука, но по солдатскому обычаю уже успел накинуть старинный мундир с четырьмя крестами и медалями, заработанными за двадцать пять лет военной службы, с медалями за помощь на воде и в огне, с надписями «За спасение человечества»... Никто никогда в Академии, даже в летнюю жару, не видел Прохора в рубашке, без мундира, без этих медалей, которые, по его разумению, позволяли не бояться никого, кроме бога да царя. Своего нынешнего начальника, вице-президента Академии художеств, графа Фёдора Петровича Толстого, Прохор, как и все прочие служители, не боялся, а просто любил, уважал и служил ему на совесть.

С многочисленными посетителями Академии старик не церемонился. Увидев, что теперь перед

ним не Тарас Григорьевич, которого граф Толстой приказал уважать, как его самого, солдат вместо ответа лишь буркнул что-то. Шатаются, мол, всякие тут... Потом искал в карманах ключ, смотрел на Старова, будто впервые увидел, хотя ему даже нравился этот живой, говорливый человек, преподаватель Смольного института, домашний учитель дочек графа Фёдора Петровича.

Когда уж мешкать больше нельзя было, старик вдруг всплеснул руками:

— Да это же вы? А я спросонок..?

Старов улыбнулся, зная повадки старого солдата; взяв ключ, спросил о Тарасе.

— Да-а... — вздохнул Прохор. — Вот в первый раз вышел нынче. А то — всё дома сидит. Из натурального класса и не выходит. Говорит, пока в солдатах был, людей писать разучился. А он, я вам скажу, он — настоящий... Самому Карлу Павловичу Брюллову, царство ему небесное, под-стать, ученик его! Да вот всё скучает. Скучает и скучает, Николай Дмитриевич...

#### 4

Когда Николай Дмитриевич возвратился с ключом, фонарь у двери уже погас, масло вытекло. Зажигая спичку за спичкой, Старов долго возился с замком.

В комнате Николай Дмитриевич открыл окно. Не зажигая свечей, сел отдохнуть. Он делал за день столько лишних движений, столько бегал, волновался по всякому поводу, что сердце часто напоминало о себе.

В знакомой обители Тараса, освещённой отблесками пожара, всё казалось нелепым. Покрытый простынёй мольберт был похож на театральное привидение, на провинциальной выделки

ть короля, Гамлетова отца. Простыня шевелилась от ветра, врывавшегося в окно. Ветер вооружил страницы книг, эстампы. Разбросанные по столу тюбики с красками воображение Николая Дмитриевича превращало в оловянных солдатиков. Офортная доска тусклым озером блестела посреди стола; большие банки с едкими кислотами — для гравирования на меди — напоминали неприступные башни старого замка... Дул ветер, стрекотал сверчок, пахло чебрецом, сухими степными травами, красками, кислотой...

Старов ждал друга, усталый и мрачный. Чтоб отвлечься от назойливых дум, дал волю фантазии.

Хотел взойти на антресоли, в опочивальню поэта, но передумал: лестница противно скрипела, — улегся в мастерской на диване и закурил дешёвенькую сигару. Лежать на клеёнке было холодно, и Старов не мог согреться, пока не подостлал пёструю шерстяную плахту.

На исписанной карандашом стене выплывали из дыма гравюры, акварели, один из последних автопортретов Тараса. Старов обернулся к нему, чтобы разглядеть поближе.

В зареве Тарас глядел с портрета как живой. Старов даже заговорил с ним, с человеком, полюбившимся ему с первой же встречи, — вскоре по возвращении поэта из ссылки.

Выручал Тараса из неволи вице-президент Академии художеств, граф Фёдор Толстой, а Николай Дмитриевич принимал близко к сердцу все дела графской семьи.

Графиня Анастасия Ивановна, не упоминая своего имени, — особа «вовсе неизвестная, но принимающая в вас самое живое и тёплое участие», — завязала переписку с поэтом.

Толстой просил молодого царя о помиловании

бывшего воспитанника вверенной графу Академии. Но царь сам вычеркнул имя Шевченко из списков тех «политических преступников», которым он даровал высочайшую милость при своём восшествии на престол. Видно, был поэт новому царю страшнее, чем даже декабристы, помилованные ещё в 1855 и 1856 годах.

Александра Второго уговаривали, просили. Но царь был неумолим.

— Этого хохла я не могу простить, — сказал он. — Нет! Он оскорбил мать мою. Не могу. И не прощу!

А оскорбление было и впрямь немалое. Августейшая мать государя, «палач в юбке», как называл её Герцен, бывшая прусская принцесса Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, на всю жизнь запомнила строки, переведённые ей «с хохлацкого»: «Царица небога, мов опеньок засушений, тонка, довгонога, та ще на лихо, сердешне, хита головою. Так оце то та богиня?! Лишенько з тобою! А я, дурний, не бачивши тебе, цяце, й разу, та й повірив тупорилим твоім віршомазам...»<sup>1</sup> Обида, быть может, и забылась бы, если бы не напоминал о ней всякий раз их величествам министр двора граф Адлерберг\*.

...Узнав ещё об одной неудаче, друзья поэта опечалились. Дело казалось безнадёжным. А легкомысленный Старов уже рвался безрассудно покинуть Петербург и ехать к обездоленному поэту в пустыню, чтобы там утешить его. Но никто, конечно, этих порывов всерьёз не принимал.

---

<sup>1</sup> А царица — что опёнок, несчастный, убогий: и худая, и сухая, и длинные ноги, и, бедняга, непрестанно трясёт головою. Вот она — богиня эта?! Горе мне с тобою! Я тебя, такую куклу, не видел ни разу, и поверил тупорылым твоим виршемазам.

\* См. примечания в конце книги.

Графиня Анастасия Ивановна советовалась с кем могла, ездила на приём к сановникам, даже к самому Адлербергу, министру двора, узнала всё-таки, что можно будет подать ещё одно прошение, в дни коронации, и направила мужа к сестре царя — Марии Николаевне, высокой покровительнице искусств, официальному президенту императорской Академии художеств.

Великая княгиня, дама ветренная и непостоянная, конечно, уважала графа, своего заместителя, друга много раз обманутого ею покойного мужа, герцога Максимилиана Лейхтенбергского, — но помочь в столь неделикатном деле отказалась.

— Ну, зачем вам этот хохол?

— Хохол? Я лично не знаю его. Меня занимает только несправедливо осуждённый человек, ваше императорское высочество. А вас, августейшую покровительницу искусств, может заинтересовать, я полагаю, незаурядный художник-академист.

— Подумайте, граф! Подумайте только: как же я буду просить о человеке, имя которого вычеркнул сам государь?

— Из жизни вычеркнул, что ли, ваше императорское высочество? — сердито буркнул Толстой, насупив взлохмаченные стариковские брови. Он в последнее время ворчал на всех без разбора, и это выходило порой не совсем ладно.

— Фи, граф! Успокойтесь, ради бога!

— Я от себя подам прошение. За правду я готов...

— Да успокойтесь, я, сестра царя, и то не смею этого сделать... А вы...

— А я подам!

— Да вы с ума сошли! — забывая приличие, вскричала Мария Николаевна.



Но на следующий день граф посетил министра двора, старого Адлерберга, и всё-таки подал своё отчаянное прошение.

Семья Толстых и все друзья, зная нрав нового царя, о котором все только и говорили, что он «сама доброта», ожидали большой грозы. Граф ходил раздражённый и злой. Накричал на своего старого лакея, чуть не избил его, сам испугался своего гнева и со слезами на глазах просил прощения.

Часто уходил из дому. Но однажды, поздним вечером, возвратился откуда-то с бумагой в руках. Лёгкие башмаки его были мокры; не дожидаясь кареты, Фёдор Петрович примчался домой лешком.

— Радость! Радость! — повторял старик. — Будите детей. Идёмте в залу!

Граф от волнения еле держался на ногах.

Анастасия Ивановна, призвав на помощь Сгарова, сразу же села писать письмо поэту, уже не скрывая своего имени. Ответ пришёл нескоро и очень обрадовал всех — длинное и сумбурное письмо. Николай Дмитриевич и его ученица, старшая дочь графа, четырнадцатилетняя Катенька, выучили это письмо на память и читали всем своим друзьям:

*«Новопетровское укрепление»*

*1857. Генваря 9.*

«...Друже мой благородный, лично незнаемый. Сестра моя, богу милая и никогда мною лично не виденная! Чем воздам, чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обаяла, восхитила мою бедную тоскующую душу. Слезы! Слезы беспредельной благодарности приношу в твоё возвышенное благородное сердце. Радуйся, не-

сравненная благородная заступница моя! Радуйся, сестра моя сердечная, радуйся, как я теперь радуюсь, друже мой душевный.

...Как золото из огня, как младенец из купели, я выхожу теперь из мрачного чистилища, чтобы начать новый, благороднейший путь жизни...

Пока я мог взяться за перо, чтобы написать вам хоть что-нибудь непохожее на настоящую чепуху, я бродил несколько дней вокруг укрепления. И не с одним письмом вашим неоцененным, а с вами самими, сестра моя. И о чём я не говорил с вами!

Я до того дошёл в своих предположениях, что вообразил себя на Васильевском острове, в какой-нибудь отдалённой линии, в скромной художнической келье об одном окне, работающим над медною доскою.

Я посвящаю свои будущие эстампы вашему драгоценному имени, как единственной моей радости...

От всего сердца моего целую графа Фёдора Петровича, вас, детей ваших и всех, кто близок и дорог благородному сердцу вашему. До свидания...»

## 5

Зарево остывало, блёкло.

Тарас не приходил.

За окном зашумел дождь. Потянуло с Потёмкинской площади осенним сладким запахом преющих листьев.

Крупные капли шумно падали на железную обшивку подоконника. Старов не выносил барабанной дробы. Словесник заучил одну из песен Беранже и упрашивал знакомых музыкантов положить её на ноты: «Барабан, барабан, барабан,

барабан! День и ночь ты тиранишь меня, горлопан...»

Дождик барабанил по тонкому железу, и Старову хотелось кричать во весь голос, говорить, заглушая несносное тарыхтение.

Он приподнялся на диване, размахивал рукой и говорил всё громче и громче:

— Это же страшно, господа! Страшно — десять лет промаршировать за барабаном... Страшно! Но Шевченко всё это перенёс, прошёл и вот — явился к нам. Несчастье его кончилось, а с тем вместе уничтожилась одна из вопиющих несправедливостей...

Старов кричал. Это было почти повторение его тоста, провозглашённого на званом обеде у графини Толстой, данном ещё двенадцатого апреля по случаю возвращения Тараса Шевченко в Петербург\*.

— Мы скажем, — кричал Старов, заглушая шум дождя, — мы скажем, что нам отрадно видеть Шевченко, который среди убийственных обстоятельств, в мрачных стенах «казарми смердячої» не ослабел духом, не отдался отчаянию, но сохранил любовь к своей тяжкой доле, потому что она благородна. Здесь великий пример всем современным нашим художникам и поэтам, и это уже достойно обессмертить Шевченко! Дозвольте же предложить тост за того, кто своими страданиями поддержал святое верование, что истинно нравственную природу человека не в силах подавить никакие обстоятельства.

Да, это была блестящая речь!

Старов замолк и снова лёг. Грустно поджимая большие красиво очерченные губы со вздёрнутыми кверху уголками, размышлял обо всём сразу — об одном старом и уже всеми забытом

друге своём, погибшем много лет назад под звуки барабана под шпицрутенами на «зелёной улице», о Шевченко, счастливо избежавшем такого же конца, снова о речи своей, сказанной тогда в честь отставного солдата...

Сколько уж было таких речей! Старова слушали всегда с охотой. Говорил Николай Дмитриевич увлекательно, интересно, хотя и не совсем ясно, пожалуй, даже туманно... Но разве не эта самая пылкость и неясность мысли придавали его речи неуловимую прелесть, привлекая к нему слушателей? Учитель видел в такие минуты возбуждённые лица, блестящие глаза, и ему ничего больше не надо было.

И вот, немало сказано фраз, но где же они, ощутимые результаты его кипучей деятельности? Где её благотворные следы?

Боже мой! Время идёт, драгоценная пора уплывает бесследно, надвигается старость, а он, одинокий и смешной философ, слоняется по русской земле словно без всякого дела, потому что... собственно, и сам не знает — чего хочет, чего ищет в людях и в искусстве.

Горькая гримаса смяла, состарила лицо учителя. В такие минуты ему делалось страшно. Он боялся оставаться один.

Мельком взглянув в окно, за которым всё ещё не унимался дождь, Старов увидел совсем уж нелепое, кошмарное виденье: у раскрытого настежь окна, почёсывая за ухом, покачивалась на тонких ногах небольшая обезьянка.

Иллюзия была слишком отчётлива. Старов, зная по опыту, что это — лишь плод возбуждённого воображения, отвернулся к стене, чтобы поскорее заснуть.

Накрыв подушкой голову, лежал на животе; руки свисали вниз. Сон уже витал над головой

усталого чудака, но до сознания ещё доходили еле слышные звуки: обезьяна нерешительно топталась по столу у самого окна.

## 6

Тарас Григорьевич, свернув от реки, шёл напрямик через город. Держа руки в карманах, в такт мыслям едва заметно покачивал опущенной на грудь головой; шаг его звучал чётко и тяжело — сказывалась солдатская выправка; хоть и плохой был из него служивый, но всё же десять лет муштры оставили неизгладимый след.

Пожар угасал. Встретив знакомого репортёра «Северной пчелы», Шевченко узнал, что некоторые борзописцы уже успели насчитать больше пятисот тысяч пудов уничтоженного огнём сена, сотню барж и прочих мелких судов, два клипера. Сколько погибло крепостных матросов, дворовых слуг, ремесленников, конюхов, — не считал никто!

Тарас Григорьевич плёлся домой. До Васильевского было далеко, а уже ныли ноги. Хорошо бы нанять гитару!<sup>1</sup>

Но извозчики, должно быть, все умчались поглазеть на пожар.

Навстречу плёлся согбённый фонарщик, с рогожей и лестницей на плече, с кувшином масла в руках. Старик зажигал притухавшие фонари. Желтоватый свет выкраивал из мрака лужи, торцы, гранит и чугунное кружево оград.

Сколько их в Петербурге, таких вот лёгких металлических узоров! Тарас Григорьевич часами

---

<sup>1</sup> Гитара — извозчицьи дрожки без рессор, с крыльями. На гитару садились верхом.

мог простаивать, рассматривая ажурные воронихинские решётки у Казанского собора, очаровательную фельтеновскую ограду Летнего сада, позолоченную, украшенную со стороны Невы вместо капителей вазами на гранитных столбах.

Старый фонарщик, взбираясь по приставной лестнице, напевал песню.

Позади у какого-то подъезда мелькнула неясная тень и словно растаяла.

Тарасу показалось, что за ним снова кто-то идёт. Он возвратился, но поблизости не было никого. Это очень неприятно, очень неприятно — всегда чувствовать за собою око неперменного соглядатая. Ощущение чужого глаза не покидало поэта с того дня, когда он узнал, что царь возвращает его в столицу «с тем, чтобы отставной рядовой Шевченко был подвергнут строгому полицейскому надзору и чтобы начальство Академии художеств имело за ним должное наблюдение, дабы он не обращал во зло своего таланта...»

Придя домой, Тарас зажёл масляную лампу, надел на неё белый матовый колпак и тогда только заметил, что на клеёнчатом диване, неудобно свернувшись, спит Николай Дмитриевич Старов.

Прядь волос пересекала его открытый лоб. На губах застыла скорбная улыбка.

Подле Николая, на скрипучем столе, пристроилась обезьянка.

Когда вспыхнул свет, зверёк на мгновение поднял мордочку с блестящими жёлтыми бакенбардами, мигнул круглыми глазками и снова заснул.

— Вот те и джунгли! Где же это философ раздобыл такое диво? — пробормотал Тарас. Осторожно потрогал пальцем пушистую оливково-жёлтую спинку, ещё влажную от дождя, и,

прикрыв окно, направился с лампой на антресоли. Заскрипела лесенка.

Через минуту он сошёл вниз с пёстрым пледом и стал укрывать сонного учителя словесности.

— Тарасенька?—вдруг приподнялся тот, растягивая большой рот в радостную улыбку. — Ты?

## 7

Утро после пожара было пасмурное.

Пантелеймон Александрович Кулиш или, как он сам себя величал по-украински, по-старинному, — Панько Олелькович, красивый брюнет, сидел в доме своего земляка Григория Митрофановича Борлакивского, попивал после завтрака сливянку и сердито щипал себя за ус.

Он был разносторонне одарённый человек, этот Панько Олелькович: дотошный редактор, ловкий и талантливый издатель, владелец типографии, выпускавшей множество полезных книг, универсальный переводчик, реформатор украинского правописания<sup>1</sup>, историк и этнограф, драматург, поэт и популярный беллетрист — автор наивной идиллии под названием «Орыся», замечательного исторического романа «Чёрная рада» и многих других сочинений.

Кулиш был в то утро в дурном настроении. Рука его, сухая и узкая, время от времени поправляла галстук. Глаза, блестящие, миндалевидные, щурились. Он почти не глядел на свою собеседницу, сидевшую с рукодельем подле него.

Это была хозяйка дома, Ганна Гавриловна, стареющая, но ещё красивая и величественная дама.

---

<sup>1</sup> Его орфографией, основами её, пользуются на Украине и поныне.

О её крутом характере по Питеру, между земляками, ходили не совсем приятные анекдоты. Рассказывали, например, о пощёчине, которую она залепила домашнему учителю Петренко, пожилому студенту, когда тот при детях, между прочим, помянул добрым словом гетмана Богдана Хмельницкого.

Пантелеймон Александрович, разумеется, слышал про пани Ганну ещё и не такие сплетни, но это ничуть не омрачало их давнишней дружбы. Что же касается Богдана Хмельницкого, то оценка его роли в истории, как и отношение к живым людям, менялась у рассудительного Кулиша много раз, в зависимости от обстоятельств...

День выдался хмурый, петербургский осенний день. Разговаривали друзья вяло, но каждая фраза словно приобретала какое-то скрытое значение, недоступное пониманию третьего собеседника, молчаливо сидевшего у стола. Это был хозяин дома, небольшого роста плюгавый человечико, с жёлтым и сморщенным, как волоцкий орех, лицом, с огромными чёрными усами.

Кулиш, ни на минуту не изменяя бесстрастного выражения на всегда неподвижном, бледном и красивом лице, рассказывал хозяевам о заграничной поездке, из которой он возвратился на-днях в северную столицу.

Ездил Кулиш по чужим краям, выручив деньги за издание сочинений и переписки Гоголя, над которым он потрудился немало: пришлось по всему свету собирать письма и рукописи, надо было переписать весь текст от руки и держать бесконечные корректуры. Некоторые письма Гоголя он даже успел заучить на память. Кулиш любил Гоголя и постарался выпустить все томы так аккуратно и добросовестно, что сын Пушкина обратился к нему с просьбой — издать



и произведения великого поэта. Это, конечно, су-  
лило верные барыши. Но работа показалась труд-  
ной и не столь для него интересной. Кулиш вы-  
нужден был, щадя свои силы, отказаться. Рабо-  
тал много. Ночи просиживал над своим новым  
романом. Жил среди книг, среди беспорядочных  
груд бумаги: на всех окнах, на стульях и полках,  
на шкафу и конторке — всюду громоздились  
брошюры и томы, влажные типографские  
гранки, рукописи и письма. Весь день у двери не  
умолкал колокольчик. Разогнав с поручениями  
всех лакеев и горничных, Кулиш сам встречал у  
порога проходящих литераторов, почтальонов,  
посыльных, книготорговцев и негоциантов. Дни  
проходили в утомительной суете, в спорах, в ком-  
мерческих делах и заботах. Правда, от многих  
забот он успел отдохнуть в длительном путеше-  
ствии.

В гостиной Борлакивских речь шла о чуже-  
странных обычаях, и Кулиш бранил всё, что при-  
шлось увидеть за границей. Хозяйка возражала.  
Подвыпивший хозяин изредка вставлял и своё  
веское слово, но, как и всегда, на него внимания  
не обращали, хотя Кулиш для приличия делал  
вид, будто беседует не с хозяйкой, а именно с  
ним:

— Одним словом, Грицько Митрофанович, са-  
ми видите, не прилась мне эта самая Немецчина  
по душе, ну никак... Да, да. Вот вам моё казац-  
кое слово.

Панько Оленькович чуть заметно картавил.

— Сквер-рные края!

— Но типографскую машину вы всё-таки ку-  
пили там? Немецкую?

— Я говорю о др-ругом, — возразил Ку-  
лиш. — Тёмен моральный облик чужестранца!  
Другое дело — всякие мелочи, быт... Ну, вот,

скажем, приехали мы с моей Шурочкой в Берлин. Остановились.

Тонкие губы Кулиша раскрывались в ослепительной белозубой улыбке. Помолчав, он продолжал:

— А стало нам с дороги холодно, пани Ганна, велели мы затопить. Ну! Принёс парень дрова в корзине, мигом поджёг и дверцу закрыл. Сгорело всё дотла, и печка нагрелась, как жар. А печь—кафельная. Он уж, Грицько Митрофанович, и не входил больше, потому что трубы там закрываются, словно краны. Хочешь поверни, а не хочешь, ему всё равно! Он сделал своё дело...

Кулиш вдруг замолчал и обернулся: открылась дверь, и в комнату вошла с резным подносом в руках невысокая, плотная, но довольно стройная девушка, с милым лицом, обильно усыпанным веснушками.

Эти привлекательные мелкие крапинки даже будто оживляли весь её облик. Без них девушка, пожалуй, выглядела бы слишком красивой, а это вовсе не подобало ей в её скромном положении горничной, дворовой девки.

«Суцая Геба», — сказал когда-то Шевченко, увидев её впервые. Это сравнение с богиней юности, подносящей богам животворящий нектар, вырвалось у поэта как-то вдруг, но под укоризненным взглядом пани Борлакивской Шевченко сразу же смутился и замолк. Смутился! Ему показалось, что перед ним та, кого он искал всю жизнь, желанная подруга, безупречный тип украинской девушки; он подумал: «Сам знаменитый Канова разбил бы вдребезги свою сахарную Психею, если бы увидел это божество...»

Когда горничная вошла, Кулиш, поражённый её видом, умолк. Девушка долгое время болела, и он давно уже не видал её. После недавнего

выздоровления Марина словно стала ещё краше, расцвела, чудом выдержав борьбу с непривычным климатом.

Кулиш, восхищённый, даже привстал ей навстречу, сдерживая внезапное желание прикоснуться к монистам на высокой груди.

Марина поклонилась.

— Чи не зволите філіжанку кави, пане? — и протянула поднос с кофейником и всякими хуторскими лакомствами: «пундиками», «марципанами», «орішками».

— А-а... Сотниківна? Давай, давай.

Панько Олелькович иначе и не называл девушку, намекая на некоторое сходство её с героиней его романтической идиллии «Орыся» — прекрасной дочерью сотника, своеобразной Навзикаей, внешность которой Кулиш описал так: «Поётся в песне, что нет ничего прекрасней вечерней зореньки ясной. А кто видел дочь покойного сотника Таволги, Орысю, тот бы сказал, может, что она прекрасней и ясной зари в погожий вечер, прекрасней и полной луны в светлой ночи, прекрасней и самого солнца, радующего и рыбу в море, и зверя в дубраве, и мак в огороде...»

Марину, обучив её грамоте, много раз ставляли дома перечитывать эту самую «Орысю».

— Прощу пана, — сказала Марина и поклонилась ещё раз. Так её учила Ганна Гавриловна.

Кулиш не без удовольствия поглядывал на стройный стан Марины, туго затянутый бархатной «керсеткой». Шёлковая плахта расходилась спереди, открывая подол нарядно промереженной белоснежной запаски, ниспадавшей на маленькие красные сапожки. Хороша девка! Только руки, большие, заметно потрескавшиеся, выдавали, как говорил Кулиш, её плебейское происхождение.

Нитей двадцать кораллов и монист отягчали

коротковатую, но гибкую шею. Ленты закрывали на спине тяжёлую косу. Головку венчал барвинковый веночек. Всё это было у девушки чем-то вроде униформы, надевавшейся специально для приёма гостей.

Наряд хорошенькой горничной гармонировал со всей обстановкой парадных комнат в доме Борлакивских. Там всюду — над резными кленовыми косяками окон и дверей, украшенными бронзой, над старинного письма иконами свисали вышитые рушники. На искусно изукрашенном посудном шкафу и на полках вдоль кленовой панели играли расписными боками всякие цветные глечики, жбаны да сулеи. Угол гостиной загромаждала большая печь, сложенная из блестящих зеленоватых изразцов, с карнизами, колонками, с гербами рода Таволг и Борлакивских, предков Ганны Гавриловны и её супруга.

В эту квартиру, словно в этнографический музей, приходили любопытные со всего Питера, а хозяйка хвасталась потом, что гостят у неё иногда, скажем, братья Жемчужниковы с поэтом Алексеем Константиновичем Толстым, Майков, профессор Костомаров или же сам Иван Сергеевич Тургенев... Кулиш приходил чаще других в хуторской уголок, чтобы, не выезжая из столицы, отдохнуть душой, сосредоточиться, набраться сил.

— Ну что, Сотникивна? — спросил он, ставя чашку на поднос. — Поправилась? А теперь красуешься? Как мак, цветешь? — и бросил на поднос серебряную мелочь.

Девушка фыркнула, покраснела, точно и впрямь, по слову Кулиша, маков цвет вспыхнул на щеках, покраснела не то от досады, не то от стыда, но молча поклонилась.

— Выйди, — сердито приказала барыня.

Марина снова поклонилась и торопливо вышла.

Кулиш только крикнул:

— Ну и девка!

— Тарас засматривается на кралю... — медленно и ехидно сказала Борлакивская, когда девушка закрыла за собою дверь.

Панько Олелькович живо взглянул на неё, хотел было спросить что-то, но тотчас же снова опустил глаза, скучный, с неподвижным лицом. Горячий и нетерпеливый в молодости, он теперь умел держать себя. Будто не слышал ничего и продолжал дальше:

— Ну, вот, после Европы побывал я и у себя на хуторе. Вот там-то я понял цену европейской цивилизации. Я не видал в Европе деревни, а город всюду пошел! Следовало бы городам, господа, раздробиться на сёла, на мызы, на хутора, не заживаясь в человеческих скопищах, не разрывая добрососедских связей с поселянами, — тогда только бедность как-нибудь уравнилась бы с богатством.

— Кто знает... — зевнула Ганна Гавриловна.

Где-то в кухне тихо бренчали струны бандуры: Это один из лакеев, по приказу барыни, учился играть. Ганна Гавриловна, сердито прислушиваясь к неуверенным аккордам, обдумывала детали обеда, заказанного повару.

Панько Олелькович думал о чём-то своём. И спросил, будто невзначай, между прочим, спросил всё-таки:

— А что, бишь, вы там такое говорили о Тарасе?

## 8

Ганна Гавриловна с ответом не спешила.

Разложив по пёстрому дивану рукоделье, переспросила, словно не расслышала:

— Что говорите?

— Да про Тараса же!

— А-а... На мою девку поглядывает.

— А вы?

— Да что же я? — вскипела вдруг Борлакивская. — Что же я? Он ведь ещё не сватался, не заикался даже. Но я ведь тоже не слепая! То он ей узор для вышивания рисует, то глянет и глаз не сводит с её поганных веснушек... Хорошо ещё, что девка глупа, не видит.

— Ха! Ухажёр! Волочиться за ней он почти и не решается, вокруг да около круженияет... — густым и сочным басом неожиданно откликнулся Грицько Митрофанович. Странно было, что из такой узкой груди вырвался необычайной силы голос. — Круженияет, будто круль какой, — а чтобы купить крепостную душу, как следует порядочному человеку, девку себе купить, то у него же карбованцев чорт-ма!

Для несловоохотливого и тихого человека это было удивительно длинной тирадой, и Кулиш вместе с хозяйкой изумлённо обернулся к Грицьку.

— Чорт-ма! А тоже лезет, маштак, невдомёк, что ему сие дело с нами и не укокобить! — Помещик всегда вворачивал неслыханные странные словечки. — Не укокобить, говорю...

После басовых раскатов в квартире, казалось, наступила удивительная тишина.

А голос у Грицька Митрофановича был и впрямь замечательный. Хозяин становился заметным в собственном доме только по вечерам, когда непрменные гости, опрокинув по шкалику, затягивали хором. Вот тут-то уже был он первым! Во всех прочих случаях Борлакивский оставался человеком скромным, малозаметным и показывал себя только перед лакеями да среди крепостных

в собственном «маэтку», где-то там, на прекрасной Полтавщине.

Правда, в своё время он обучался в Академии художеств вместе с Тарасом Григорьевичем, но не кончил, и теперь способности свои упражнял на портретах гетманов — Полуботка, Мазепы или Выговского.

Жена держала пана помещика в беспрекословном повиновении: он и после пятнадцати лет супружеской жизни был влюблён. Каждый четверг, например, барынька приказывала мужу наряжаться в жупан и в шаровары, в кучму, керею или кобеняк и посылала на прогулку по Невскому проспекту на удивление всем франтам и франтихам столицы. Таких «землячков-малороссов» в те годы на Невском появлялось немало.

— Так вы говорите, у Тараса чорт-ма карбованцев? — прищурившись, переспросил Кулиш. — Да скоро же наш светлый царь прикажет отпустить людей без выкупа. Тарас, поди, ждёт уже не дождётся...

— То-то же он и на Марину засматривается, — пробасил Грицько.

— Забывается, старый бурлака, — продолжал Кулиш, — одиночество мучит. Я уже и говорил ему, и в письмах намекал, чтоб оставил он химерную мечту о собственном гнезде, о детках. Прошла уже его пора! Да я так думаю, Грицько Митрофанович, что поэт такого таланта не должен иметь права ни на личное счастье, ни на собственный вкус. Это, может, нечеловечно, но нас с вами судьба призвала отвечать за его музу... Только ради неё мы терпим его вздорный нрав: великий он, господа, поэт, воистину величайший у нас, на всей Славянщине, тройне поэт — слова, кисти и песни, — но много ещё в

нѣм этого врождѣннаго... мужичьего, цинизма даже, и мы с вами должны ещё выше вознести его талант и славу, вмешиваться в его дела, требовать от него жертв, заставляя его иначе смотреть на свет божий! Горе! Лишь огарок таланта Шевченкова возвратился к нам из Азиатчины, и на огарок набросились люди, которые только и умеют потворствовать заблуждениям его, которые стремятся только найти оправдание своим гайдамацким склонностям. Хоть и частенько захаживает он в наш курень, но ещё не превозмогли мы вредного духа! Надо его перебороть, пани моя, милая моя, надо! Мы будем драгоценный алмаз шлифовать, в нужных местах исправлять даже писанья Тарасовы. Всё это — для нашей Малороссии, для собиранія вокруг нас с вами всех тех благородных деятелей, которые искренне интересуются судьбами украинской народности. История не забудет нам сего вовек! Я готов писать об этом, петь, кричать... кричать на весь свет!

Панько выделял отдельные слова. Казалось, будто не говорит он, а читает старые свои, тонко писанные письма, тщательно обдуманые и много раз перебелѣнные.

Тарас некоторой препоной становился в его делах. А препоны только заставляли Кулиша увлекаться всё новыми и новыми начинаниями, и всё закипало под его холодной рукой, хоть он часто и сам не знал, чего хочет и к чему стремится.

— Новый государь ему, видите ли, не по душе... А царём у нас теперь недовольны разве только привыкшие к старым формам правления придворные чины, потому что им всё кажется, будто мало осталось во дворце былого величия! Но никогда ещё ни один государь не возбуждал



таких надежд в обществе! Вот! Но ничего здесь с Тарасом не поделаешь!

Ганна Гавриловна этакие, так сказать, теоретические беседы вообще любила, да и сама частенько размышляла о своей выдающейся «роли» в истории украинского «поступу», но сегодня пани Борлакивская была, как говорилось в их кругу, «не в гуморі».

— Вы лучше бы, лучше, — грубо отозвалась она, — посоветовали бы, как отвадить его от Марины.

— Подумаем, — ответил Пантелеймон Александрович. — Подумаем, пани моя милая да пригожая, солнце моё, подумаем. Дело-то важное, ой-ой!

И Кулиш лёгким движением снова поправил галстук, прищурил глаза и снова сидел неподвижно.

## 9

— Дружба с ним — горечь моей жизни, — Кулиш говорил пышно, как восточный поэт.

— Да старая-то дружба не угасает?

— Гаснет, пани Ганна. Тарас её тушит!

Друг не испытанный, говорит пословица, что орех не расколотый. Бог знает, быть может, и пустой, может, источенный... Дружба Кулиша с Тарасом Шевченко испытывала не раз сокрушительные удары, но подобие дружбы, тень её ещё витала над ними.

Оба приятеля ждали чего-то лучшего, перемен; быть может, появления искренности, теплоты... Но дружба, она, говорят, как стекло, разобьёшь — не сложишь.

Кулиш обвинял Тараса в нечуткости и неблагодарности, хотя сам принадлежал к тем давниш-

ним друзьям, которых незлым, тихим словом поминал поэт, очутившись в ссылке.

«Бывало, — писал он, — в собаку брось, а в друга попадешь. А как дошло дело до нужды, то святой их знает, куда они все девались! Не поумирали же, избави бог? Нет, здравствуют, только чураются бесталанного друга».

Когда Кулиша арестовали вместе с Тарасом, Костомаровым и другими, он отбывал свою краткосрочную ссылку в... Туле. Чтобы не повредить своему относительному благополучию, про Тараса Пантелеймон и не вспоминал\*. Из Тулы Кулиш поспешил в Петербург, устроился в какую-то канцелярию — без всякого жалованья, лишь бы только получать чины. Правда, карьера почему-то не удавалась, и временная нужда заставила его писать повести для «Современника». Он, Кулиш, писал даже по-русски. Нужда! Но из-за денежных расчётов Кулиш вскоре поссорился с редакторами, с Некрасовым, и поносил их, где только мог.

Так и не вспомнил Кулиш о друге Тарасе, пока тот оставался ссыльным солдатом. Когда Шевченко, возвращаясь из Азии, вынужден был надолго задержаться в Нижнем, откуда полиция не пускала его в Питер, Пантелеймон, человек сложных и тонких расчётов, решил нарушить странное молчание. От приглашения приехать в Нижний он отказался, но с тех пор не оставлял Тараса своими наставлениями, чтобы не гневил нового государя!

«Твои «Неофіти», Тарасе, хорошая штука, да не для печати. Не стоит напоминать сыну об отце, ожидая от сына какого бы то ни было добра. Он же у нас теперь первый человек: кабы не он, и вздохнуть нам не дали бы. А освобождение крепостных — это его же дело. Самые

близкие теперь к нему по душе люди — мы, писатели, а не пузатые чины. Он любит нас, он верит нам, и вера не посрамит его...»

Не давали покоя Кулишу и превосходные повести Шевченко, написанные по-русски, «по-московски», ещё в ссылке, тайком.

«Не спеши, брат, печатать московские повести. Ни денег, ни славы за них не добудешь! Были б у меня деньги, я бы у тебя купил их все сразу и сжёл... Так-то вот, брат, для всякого дела нужна сноровка и особое уменье! Вот хорошо было бы, если бы нас господь вместе свёл, да если бы мы пожили по-соседски хоть один год, поумнели бы... Что же, когда мы идём врозь...»

Это была сущая правда: их пути расходились! Не сошлись они и теперь, когда оба — Пантелеймон и Тарас — жили в одном городе, почти рядом.

— Эх, пани Ганна, — сокрушённо жаловался Кулиш, — сколько лет, пока Тарас был на чужбине, я, ложась спать, на ночь, после молитвы, читал наизусть Тарасовы вирши. Я самого себя оставляю в тени, сам перестал писать стихи, разнося славу великого поэта. А что я за это имею? Только и всего, что Тарас, пани Ганна, между нами говоря... становится опасным. Опасным, Ганна Гавриловна!

## 10

Грицька Митрофановича в комнате не стало. Исчез он так тихо да ловко, что ни гость, ни хозяйка не заметили.

Теперь можно было говорить ещё откровеннее.

— Творится что-то неладное, голубка моя! Тарас повадился в «Современник», а вчера вер-

ные люди донесли, что обещал присоединиться к той оглашенной кампании, которую затеял недавно Чернышевский и иже с ним против того паршивого журнальчика, против «Иллюстрации»...

— Что-то не слышала такого.

— В «Русском вестнике» должен появиться этот самый протест. Ну, а если в это дело вяжется и Тарас, то — вот вам казацкое слово! — придётся, по тактическим соображениям, придётся влезть туда же и мне. Но, я думаю, вот тут-то нам и поможет Марина.

— Марина? Как поможет?

— Девка поможет прибрать его к рукам.

— Девка? Да ведь я же не хочу её отдавать!

— И не надо. Не надо. Держи при себе. Очень тебя прошу! Пусть он только чаще ходит в ваш, пани, курень, пусть любит нашу кралей, пусть у него душа тоскует по собственному гнезду. А чтоб не вышло чего, Марину мы от него отвадим. Да! Можно ей сказать, что он вовсе не пара крепостной девке, и сибиряк — из тюрьмы вышел, и пьяница горький.. Да разве мало что можно сказать?

— Это — о друге-то?

— Для его же блага.

Пантелеймон Александрович замолчал. Какая-то ещё неясная мысль взволновала его. Он встал и спросил:

— А как он, кстати, теперь насчёт чарки, а?

— Да почти никак.

— Да-а...

— Девка-то, Маришка, сама его пьяным не видала. Не поверит.

— Пусть увидит.

Ганна Гавриловна расширенными глазами

глядела на бледное лицо Кулиша, покрывшееся красными пятнами.

Панько стал прощаться с хозяйкой, приложился к ручке и направился к выходу.

В прихожей было пусто.

За стеной, в соседней каморке, слышен был ровный голос Марины. Девушка монотонно, как читают молитвы, очевидно, без всякого интереса, может быть, в десятый раз, по приказу барыни читала наскучившие страницы:

«Приснился раз... приснился раз Орысе дивный сон. Показалось, пришла к ней с того света... с того света покойная матушка... встала над ней у изголовья да и говорит: «Дитя моё, Орыся! Не долго уж тебе гулять...»

Кулиш, склонив голову, молча слушал. Смотрелся в зеркало. Приятно было из уст пригожей девушки услышать своё любимое произведение, казавшееся ему теперь таким далёким и прекрасным.

Заслушался и не заметил раздавшихся за дверью шагов. В передней внезапно появилась Ганна Гавриловна, уже без кринолина, в пёстром домашнем капоте, который, кстати, был ей очень к лицу.

Увидев Кулиша, пани от смущения вскрикнула. А Кулиш, чтоб не подумали, будто подслушивал он, стал искать в углу свои калоши.

— Вы ещё здесь? — воскликнула Борлакивская, пятясь к двери, за которой слышен был голос Марины. — Сами одевайтесь! — И вдруг заверещала: — Маришка! Слышишь? Одеться подай! — и бросилась в каморку. Там барынька закричала ещё громче, заглушая тупой звук затрецин.

Панько Олелькович смущённо топтался в прихожей, не решаясь уйти. Когда Ганна снова

вышла к нему, он наклонился к самому её ушку и, от волнения сильно картавя, сказал:

— Смотри! Чтобы Тарас не проведал ничего такого, а то и ноги его здесь не будет.

Пожав руку, поцеловал её, взглянул в зеркало и ещё раз нагнулся к ручке, чтобы укрыть от приятельницы обескураженный взгляд.

— Смотри же, Ганна! Но, ах, Ганнуся, зачем всё-таки... зачем так строго? Зачем?

Слёзы слышались в дрожащем голосе, доносившемся из соседней комнаты...

«Приснился раз Орысе... приснился раз Орысе дивный сон...»

## 11

Высокие потолки в коридорах Академии углубляли царивший в них полумрак.

Плиты пола звенели даже под лёгкой поступью четырнадцатилетней девочки.

Катенька не первый год жила в обширном здании Академии, но всё же побаивалась гулких коридоров и старалась ступать проворнее и легче.

Девочка шла к обедне одна: маменька уехала в Гостиный двор. Отец с сестрицей Ольенькой был давно уже в домово́й академической церкви.

Руки, плохо вытертые после умыванья, ресинки на бровях и русых кудряшках, чуть припухшие розоватые веки... Да, да! Катенька проспала, недавно проснулась и ещё не совсем пришла в себя.

У высоких полукруглых окон, попадая в полосу света, девочка щурила голубые глаза и совсем зажмурила их, открыв тяжёлую дверь церкви.

Сладкий запах ладана ударил в нос. Пахло свечным нагаром, воском, краской от недавно расписанных стен. Перед алтарём кадил отец Илья Денисов, «косматый жрец», как называл его Тарас. Хор уже кончал «херувимскую».

Девочка прошла к окну и остановилась в отсвете цветных стёкол, окрашивавшем облака кадильного дыма.

В углу, под окном, стоял старик Соколов, помощник полицмейстера при Академии. Зелёные пятна расцветчивали ему седенькие бачки. Посматривая по сторонам, Соколов не забывал креститься, подтягивал певчим и успевал даже снимать нагар со свечей.

Обедня кончалась. Если бы не богослужение, многие уже подошли бы к девочке поздороваться, пожелать доброго утра, расспросить об успехах в музыке и науках. Катя была любимицей Академии.

Позади всех, у самой стены, на своём постыльном месте стоял её отец, граф Толстой.

С первого взгляда никто не сказал бы, что этому стройному и статному человеку перевалило уже за семьдесят пятую осень. В прежние времена граф водил дружбу с Пушкиным, который был моложе его лет на шестнадцать, с Орестом Кипренским, Крыловым, Рылеевым, Карамзиным и Жуковским, — и пережил их всех.

В двадцать пять лет он был выбран почётным членом Академии и вскоре достиг высокого положения и чинов.

Карьера ничуть не испортила его: всю жизнь граф работал не покладая рук, днём и ночью. Он умел заботиться о знакомых и незнакомых, помогал ученикам и, на удивление многим гос-

подам, помнил в лицо даже самых мелких служащих Академии; встречаясь в коридорах, снимал шляпу перед каким-нибудь сторожем, натурщиком или истопником.

При дворе всё это принимали за стариковские чудачества. Но в Академии, да и среди музыкантов, литераторов и учёных, графа очень любили и уважали. Прежде всего — за скромность, уводившую его даже в академической церкви, где он был первым человеком, в самый отдалённый уголок.

...Катя молилась за отца, за маму, за сестричку Олю, когда сзади кто-то шепнул ей на ухо одно лишь знакомое слово:

— Серденько.

Дядя Тарас Григорьевич стоял рядом с Катей, размашисто крестился. Граф Фёдор Петрович, взяв его на поруки, советовал почаще — всем напоказ — заходить в домовую церковь святой Екатерины. Вот она, долгожданная свобода!

— Серденько, может, пойдём? — снова шепнул Шевченко.

Катя оглянулась на отца. Старик, прищурив добрые лукавые глаза, смотрел в другую сторону. Правда, он никогда не заставлял детей ходить в церковь, — это делалось по собственному желанию, — и всё-таки неудобно было уходить, пока он здесь.

Но дядя Тарас не унимался:

— Идите домой, надевайте шубку, берите альбом, карандаш, — и, не дожидаясь ответа, направился к притвору.

Катенька, не утерпев, оглянулась и на цыпочках двинулась за ним.



— Куда же мы идём, позвольте узнать? — спрашивала девочка, догоняя поэта в коридоре.

— Э-э-э... Куда? Да я тут, голубка моя, дерево открыл вчера, да какое — картина! У лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе том...

— Боже! Где ж это такое чудо?

— Недалёко. На Среднем проспекте. Идёмте. Скорей!

Сегодня должен был состояться, так сказать, очередной урок, из тех, которые Шевченко время от времени давал Кате. Любознательную девочку привлекали не только занятия, но и возможность побродить с Тарасом по городу, — хоть и не в гранитные кварталы её тянуло, а в сад и в лес. Катя была мечтательницей. И тотчас представила себе дерево, открытое Тарасом.

Добравшись по коридорам домой, Катенька оставила приятеля в голубой гостиной, самой весёлой комнате графской квартиры. Шевченко присел на ясеневое кресло с чуть откинутой назад спинкой, обитое бледноголубым штофом, и о чём-то думал, ощупывая выпуклый орнамент, инкрустацию красного дерева на полированном ясене: то были переплетённые ветви дуба и лавра. Мебель, да и вся утварь в квартире делались по рисункам самого графа.

На потолке дрожали отблески воды. Встав у глубокой амбразуры, Тарас Григорьевич глядел на Неву, на проходящие мимо корабли. К морю шли серые волны. Утлая шлюпка пересекала реку. Лодчонку захлёстывало, вертело, но она всё-таки приближалась к этому берегу, росла, утрачивая некоторую поэтичность,

присущую на расстоянии даже предметам обыденным.

— Я готова! Дядя Тарас!

— А? Готовы? Ладно. А я вот немного задумался.

— Отчего это вы, дядя Тарас, пока разговариваете, будто веселы, а задумаетесь, погрустнеете вдруг?

— Такая уж у меня натура, серденько. Прячь, говорят, думку в пазушку, а в люди не носи. А я вот — не могу так... Идёмте, Катенька.

Пока Шевченко спускался по широким ступеням главного вестибюля, Катенька, торопясь, по детской привычке съехала по широким перилам, мимо скульптур, расставленных на площадках, и смеялась, как маленькая: в вестибюле-то не было никого, все ещё достаивали обедню.

С набережной друзья не свернули ни к Третьей, ни к Четвёртой линиям, по которым можно было ближайшим путем добраться до Среднего проспекта, к открытому Тарасом чудесному дереву. Пошли по скованному гранитом берегу реки\*.

Против главного входа в Академию, над спуском к воде, стояли два древних сфинкса. От гранита веяло холодом и запахом водорослей.

Шевченко задумался, рука его лежала на камне, пока не заоченела. Он потёр руки и сунул их в карман.

Молчали. Потом пошли берегом к Стрелке, чтобы добраться до Среднего кругом, мимо Биржи и Тучковой набережной.

Внизу, подле пристани, под сфинксами, поскрипывала раскачиваемая порывами ветра, притянутая к берегу баржа.

Тарас Григорьевич и любил, и ненавидел Питер, город, в котором вырос и о котором мечтал в далёкой пустыне: выезжать-то отсюда ему теперь не разрешали под страхом жестокой кары.

Поэт ненавидел и... любовался! По ту сторону Невы на высокой скале летел к реке Медный всадник. Где-то на другом острове колот небо забранный для ремонта в леса шпиль Петропавловки.

По Университетской набережной лихо гарцовали молодчики-кавалеристы. Взад и вперед носились взмыленные рысаки, мелькали гербы на каретах, шумела толпа. Всюду — раздутые французские кринолины под коротенькими шубками «дюшес» и шляпки, цилиндры и чепцы с разлетающимися по ветру лентами. Красавцы-полицейские стояли по углам.

И Катя, и Тарас, проходя по берегу, озирались вокруг, будто видели всё впервые. Картина набережной менялась каждый день, каждый час.

Навигация в Петербурге кончилась, и на кораблях торопились поскорее завершить дела, чтоб отправиться в более тёплые моря.

Неподалёку от моста чернел старый корабль. Тёмные мачты его быстро одевались в грязные серые паруса с белыми свежими заплатами. Ярус за ярусом возникали треугольники и трапеции, и вот уже, прогремев якорями, корабль двинулся с попутным ветром. В толпе на берегу закричали, замахали вслед шляпами, платками.

Чем дальше уходило старое судно, тем белее

и легче казались его паруса. Когда оно миновало Академию, девочке даже почудилось, что корабль постепенно взмывает кверху и мчится тяжёлой птицей, еле касаясь воды.

Суда с цветистыми иностранными флагами ещё в несколько рядов стояли вдоль берега; на гранитной набережной высились груды товаров; всюду шныряли чужестранцы, из контор доносились разноголосые и ожесточённые крики маклеров. На корме итальянской фелюги, брошенной здесь на зимовку, пожилой матрос тянул унылую мелодию «Санта-Лючия», тоскливо поглядывая на прохожих, на берег острова.

Набережная, по которой пробирались Тарас и Катя, упиралась в Стрелку — большой полукруг, облицованный гранитом.

Два маяка — высокие ростральные колонны — венчали Стрелку. На гранитном цоколе возвышался перистиль здания Биржи, за Биржей простирались пакгаузы и портовые сооружения. Это место петербуржцы издавна облюбовали для прогулок.

Всюду чувствовалось томящее дыхание осени. Сквер, изогнувшийся подковой между зданием Биржи и университетом, кишел людьми. Матросы, грузчики, рыбаки сновали среди ларьков и палаток. Сюда стекались контрабандисты, лакеи, ремесленники и мастеровые, охочие до новостей франты с Невского проспекта, коллекционеры и любители экзотики.

На самом краю сквера, у серой стены, перед громадными кучами пеньки светились яркие осенние пятна: груды заморских дынь, лимонов, диковинных груш; свежая солома шевелилась от ветра. В кадках росли апельсиновые деревья, украшенные спелыми плодами.

Желтоватые тона преобладали всюду. Охра и

кадмий! Торжественные липы и каштаны по всему скверу стояли, как странники в капюшонах, закутанные на зиму в рыжие рогожи.

14

В сквере Тарас Григорьевич заметно оживился, схватывая всё пытливым взглядом, в котором проявлялось и детское любопытство и вдумчивость художника.

— Серденько! Посмотрите... Да не туда! — кричал Тарас Григорьевич, обернувшись к деревьям. Рыжий щенок, стибрив где-то большую связку бубликов, еле тащил её в укромный уголок.

В глубине, под липами, стояли многоярусные ряды клеток. В них сидели взъерошенные попугаи всех видов и мастей. Тут же пощёлкивал дрозд, насвистывал польку снегирь. Подле клеток стояли угрюмые марабу.

Чуть дальше предлагали каких-то странных рыб, устриц, угрей, там же продавались всякие заморские диковинки, раковины, коллекции исполинских бабочек; в зарослях редкостных растений неодобрительно крякал гусь, отзываясь на свистки и злое шипенье пароходов.

У поворота дрожали от ветра шаткие стены балагана. Взор привлекала грубо намалёванная вывеска: «Здесь показывается удивительная палиорама, которая единственная!» У балагана верещала шарманка, наигрывая мотивы из «Аскольдовой могилы» и гарибальдийский гимн, завезённый на север совсем недавно. Ручку вертел немолодой итальянец в куртке, в гарусном шарфе. На ящике шарманки сидела обезьяна, наряженная в гусарский мундир и тироль-

скую шляпу. У ног шарманщика жался озябший пудель.

Тараса Григорьевича всегда удивляли эти люди, шарманщики; он не мог постичь, какая страшная беда гнала сюда итальянцев из солнечной и тёплой страны. Они приезжали каждую весну на острогрудых, грязных и душистых кораблях, привозивших пряности и мессинские апельсины, и бедствовали здесь, таская взятую у предпринимателя шарманку.

Вокруг шарманщика собиралась толпа: сапожный подмастерье с дратвой за ухом, лакей с чайником давно остывшего кипятку, два оборванных негрѣ, по-детски державшихся за руки, краснолицые итальянские матросы и какой-то поварёнок. Мальчишка остановился здесь отдохнуть: он тащил на голове огромную корзину, а в ней, пожалуй, полпуда мяса, несколько штук битой птицы, кочаны капусты, морковь, артишоки, спаржу и устриц.

Постояв подле итальянца, Шевченко пошёл дальше и с досадой проворчал:

— Снова не тот. С мартышкой!

— Вы что-то сказали? — спросила Катя.

— И этот, говорю, с обезьяной.

— А что?

— Да разве я не рассказывал? Ко мне вот уже три дня как приبلудилась мартышка.

— Ай-ай!

— Даже не знаю, что делать. Зверька накормить надо, может быть, и выкупать. А мне-то некогда! И солдат мой, Прохор Михайлович, не хочет. Вот я и гляжу, не встречу ли её хозяина — шарманщика без мартышки.

— А ведь это, пожалуй, Манька, обезьяна барона Клодта! — воскликнула Катя.

— Чья?! — переспросил Тарас.

— Петра Карловича, скульптора.

— Вот так-так!

— А Соколов, полицмейстер, ищет её.

— Да вот и он сам, смотрите, — обернулся Тарас. — Вон там, среди клеток, видите, оглядывается.

— Знаете что, — Катя вдруг решительно схватила друга за руку, — идёмте-ка от него по-дальше.

## 15

При выходе из сквера Шевченко снял серую пуховую шляпу и поклонился какому-то бедно одетому, но величественному в своей старости прохожему.

— Кто это? — спросила девочка.

— Не знаю, серденько.

— Вы же поздоровались?

Тарас Григорьевич ответил не сразу, подбирая слова, доступные девочке её склада и воспитания.

— Да-а... Видите ли... мужик я. Простолюдин. А мужики между собою — люди вежливые, Катруся. Вот так иногда в большом городе, — даже не в поле, нет, — случится встретить старика или этакую почтенную бабусю, и рука невольно тянется к шапке. Эта привычка, сдаётся мне, серденько, укореняется с детства, хоть меня, кажется, и не воспитывал никто. Да вы знаете, Катя, я даже завидую... что есть у вас тетя, Катерина Ивановна, которая всегда найдёт случай сказать: делай, дитя моё, сердце моё, счастье моё, вот так, а не этак...

От Тучкова моста свернули влево, на Малый проспект.

— Вы знаете, сердце моё, — говорил Та-

рас,— я и маменьке вашей завидую, графине моей. Есть у неё две дочки, две япочки, а я, бродяга, только мечтаю, как буду, может, когда-нибудь воспитывать свою дочку-невеличку. Может, будет она... беленькая, сероглазая и... может быть... с веснушками по всему личику. В неділю ляля в льолі білій...<sup>1</sup> — как бы это вам перевести по-русски? — и замолчал, и вдруг смутился.

На Среднем проспекте деревьев было в то время немало. Тараса обворожила раскидистая дуплистая липа, уже без листьев, и он похаживал вокруг дерева, крякая от удовольствия, и никак не мог выбрать нужную точку.

— Вот не бывали вы ещё на Украине, Катя! — вздыхал он. Опечалившись, рассказывал о незабываемой красоте деревьев, которые приводилось рисовать у себя дома. О вековой вербе над Днепром, позолоченной вечерними отблесками солнца. А на волнах — лодка-душегубка. И тишина, и всё как замерло... — Вот бы где нам с вами пожить, серденько!

Карандаши шуршали по шероховатой бумаге альбомов, Катенька рисовала с таким увлечением, будто стояла перед той самой вековой вербой на днепровском берегу.

Это был уже не первый выход «на натуру». Прошлым летом они выезжали иногда на взморье, на берег Финского залива или куда-нибудь в поле, на луг. Дядя Тарас всегда забирался повыше, на насыпь какого-нибудь рва, и, положив голову на руки, глядел вдаль.

Земля под солнцем дымилась, и небосклон казался неверным и шатким. Тарас глядел. Это было не случайное увлечение пейзажем.

---

<sup>1</sup> Дитя в воскресный день в рубашке белой...



Он по целым часам мог просиживать у ручейка, у какой-нибудь норки, прислушиваться к щебетанию птиц в притихшем лесу.

Сестрички, Оля и Катя, заметив его задумчивый взгляд, сидели тихонько, затем украдкой собирали цветы и украшали венком большую лысину Тараса. Цветы падали на плечи, к ногам. Тарас улыбался, осторожно гладил по головкам девочек, иногда вдруг выхватывал кусок бумаги, записывал что-то и снова прятал в карман.

Оленька, гоняясь за бабочками, испачкает, бывало, туфельки, и дядя Тарас бумажкой или пучком травы вытирает их, зашивает разорванный чулочек и ворчит, будто на собственную дочку:

— До чего ж неопрятная. Вот уж терпеть не могу!

У Оленьки по щеке скатывалась слеза, но девчушка поскорее размазывала её, обнимала Тараса, уверяя, что не будет больше, если только в другой раз он снова возьмёт их с собой.

Карандаши шуршали по шершавой бумаге. Контуры дерева оживали.

Тарас Григорьевич, взявши в руки катин альбом, подправлял рисунок, отмечал промахи в освещении. Тарас обращал внимание совсем не на то, о чём иногда говорил своей дочке граф. Шевченко и Толстой, художники, оба воспитанные на классических образцах, по-разному видели мир. Катя, стараясь верить обоим, терялась. И, только забывая все наставления учителей, находила красоту даже в сломанной ветке, в дрожащем сухом листке, уже единственном среди оголённых ветвей.

— Чудо, не дерево! — вскрикивала Катенька. Встряхивала головой, не замечая развязавшихся на капоре лент.

Восхищение мешало работать.

— Чудо, не дерево! Чудо!

— А знаете, Катенька, таких чудес, настоящих деревьев, ну, обыкновенной липы, берёзы, дуба, не видал я в мёртвой пустыне, богом проклятой, не видал много лет!.. «Доля — чоловіком, як швець — шилом, куди ввіткне, туди й лізь...»<sup>1</sup> Я бывал даже в таких местах, где — ни кустика! Хоть бы какая былинка, — ничего нет. Ни кузнечика, ни птичьего щебета! Даже ящерица не блеснёт пред глазами; даже горы порядочной не увидишь, просто бог знает что! Смотришь, смотришь, и такая тебя тоска возьмёт...

Тарас умолк, отирая клетчатым платком лоб.

— Затосковал! Но всё же и там нашлась радость, у мёртвого Каспия. Ещё, Катя, серденько, когда меня перегоняли из Орской крепости в Новопетровский форт, — а это было в октябре месяце, — в Гурьеве-городке поднял я на улице свежую вербовую палку, а добравшись до форта, воткнул её в землю да и забыл. А весной, Катя, палка моя проросла, стал я её поливать. И поднялась она вскоре красавицей-вербой.

Тарас Григорьевич снова кое-что поправил в рисунке, передохнул и продолжал:

— Вербка моя напоминает мне старинную легенду о покаявшемся разбойнике.

— Я слушаю, дядя Тарас!

— Вот такая, значит, легенда... В тёмном, дремучем лесу, Катенька, спасался когда-то праведный старец, и в том же лесу кровожадный завёлся разбойник. И вот приходит однажды он со

---

<sup>1</sup> Судьба — человеком, как сапожник — шилом, куда ткнёт, туда и полезай (пословица).

своей дубиной, железом окованной, к отшельнику и просит об исповеди: «не то, говорит, убью!» Ну... делать нечего — кровь не вода, смерть не свой брат, праведник — хоть прожил он с локоть, а осталось с ноготь, — испугался, да и начал, с божьей помощью, исповедывать злодея. Но грехи, серденько, были так страшны, что пустынный не мог сразу наложить на него епитимию и попросил у грешника три дня сроку для размышления и молитвы. Разбойник пошёл в лес и на четвёртый день вернулся. «Ну, что, — говорит, — старче божий, придумал?» — «Придумал», — ответил праведник и вывел его из лесу в поле, на высокую гору, вбил в землю его кованую дубину и велел грешнику из оврага носить ртом воду да поливать страшную палицу. «Тогда, — говорит, — отпустятся тебе грехи твои, когда из смертоносного орудия вырастет дерево и плод принесёт...» Сказав это, праведник пошёл в свою келью, а грешник взялся за работу... Так прошло много лет, и схимник, пожалуй, уже забыл о своём духовном сыне, забыл!.. Вы, дитя моё, обратите внимание на изгиб ветвей...

— А дальше?

— Дальше? До чего нетерпелива! Рисуйте!.. Ну... в один, значит, прекрасный день вышел старец из лесу прогуляться, побрёл в поле и в раздумьи добрался до какой-то горы. Шёл, шёл и вдруг услышал чудный запах, от груши словно. Соблазнился праведник и пошёл искать плодовое дерево. Поднялся на самую гору, и что же он увидел? Грушу, отягчённую зрелыми плодами! А под сенью дерева отдыхал старик, с длинной, ниже колен, бородой, как у святого Онуфрия. Схимник узнал своего духовного сына и смиренно подошёл к нему за бла-

гословением, потому что разбойник стал уже более праведным, чем он сам... Вот! И моя верба тоже выросла и не раз в горячие дни укрывала меня от зноя, но отпущения грехов моих не было и не было... потому что, Катя, то был разбойник, а я, увы, сочинитель... Вот и всё.

— А что же с вашим деревом теперь?

— Писал мне комендант форта Усков, Ираклий Александрович, что моё дерево и весь мой сад растут! Не выкорчевать моих трудов!

Тарас отвёл от альбома руку и обернулся к Четвёртой линии. Оттуда спешил запыхавшийся и, как всегда, чем-то взволнованный Николай Дмитриевич Старов.

— Вот вы где! — вскричал он, приближаясь. — Я так и думал. Так и думал!

— Здравствуйте, — протянул ему руку Тарас Григорьевич.

— Новостей-то, новостей, Тарасенька!

— Расскажите, послушаем.

— Да с чего же начинать? Ага! — и Старов начал выкладывать всё, что у него набралось за день.

Была там и самая любопытная новость — прошёл слух, будто в Париже должна в скором времени умереть мода на кринолины; вспомнил Старов и какое-то происшествие на прокладке кабеля атлантического телеграфа.

— А в журнальчике «Весельчак» читали? Кабель, мол, пригодится и самому беловолосому Нептуну — вместо верёвки для сушки белья... А вы, Катенька, слышали? Известный в Париже фотограф Надар придумал на-днях снимать пейзажи с аэростата и собирается для этого лететь в Африку! Каково? Да, кстати: в Питер приез-

жает какой-то африканский негр, Олдридж, что ли. Говорят, знаменитый трагик.

— И что же?

— Шекспира показывать будет. Шекспира!

— Наверное, какой-нибудь балаган, — заметил Шевченко. Шекспира он очень любил, многое знал на память, но в хорошем исполнении очень уж редко удавалось ему посмотреть «Гамлета» или «Отелло».

— Да нет же, — возразил Старов. — Рассказывают, будто арап сей с человеческими сердцами чудеса делает, слёзы восхищения и радости реками текут, потрясаются души, пробуждаются лучшие чувства, обличается зло, рождается любовь к искусству и природе...

Говорил Николай Дмитриевич, как всегда, возвышенно и туманно, но с таким пылом, что можно было заслушаться. «Мысли у него кипят, — говорил шутя Тарас Григорьевич, — а в кипеньи всегда должна быть некоторая стихийность и отсутствие порядка».

— Любовь к природе! Я вот задал вчера своим институткам тему для сочинения: «Восход солнца» — и думаю...

— Восход солнца! — воскликнул Тарас. — Да ваши девицы-то никогда его и не видели. Спят они долго, никуда их не выпускают. Где уж им описывать, как «утра луч из-за усталых бледных туч блеснул над тихую столицей»!

— Я довольно давно обучаю их, — с достоинством возразил Старов, — и у барышень этих уже развивается вкус. Их не коснулась ещё печать грубого сухого материализма. И как они меня слушают, Тарас, как слушают!

Начал накрапывать дождь.

Уже дойдя до Академии, Старов припомнил

вдруг, чего ради он, собственно говоря, разыскивал Тараса:

— Соколов расспрашивал, куда вы девались. Полицмейстер. Очевидно, кто-то сказал ему, что у вас видели обезьяну.

— Придётся всё-таки сходить к барону! — недовольно крикнул Тарас.

— Отнесём?

— Да отнесём же, цур ему, пек! Жаль мартышку отдавать. Ей-богу, жаль! А придётся... Пойдёте с нами, серденько?

## 17

Барон Клодт фон Юргенсбург, Пётр Карлович, предполагаемый хозяин приبلудившейся обезьянки, заслуженный профессор Академии, бывший артиллерийский офицер, был скульптором воистину замечательным\*. На Аничковом мосту стояли его кони, четыре скульптурные группы, завоевавшие Клодту всеобщее признание, славу и почёт. Копии аничковских скульптур сам Николай Павлович подарил королям неаполитанскому и прусскому. За это барон получил от них по ордену и удостоился звания члена различных академий.

Тарас Григорьевич, по возвращении в столицу, много раз останавливался у Аничкова моста на Невском и любовался бронзой. На лошадиных крупах проступали и напряжённые мускулы, и даже кровью налитые жилки, будто живые, горячие, трепетные.

Кони были великолепные! Но к ваятелю Шевченко относился, пожалуй, без особой приязни, — не мог простить барону его усердия в работе над памятником царю Николаю Павловичу.

Возвратившись в Петербург, Шевченко видел, как забивали на Марининской площади сваи под фундамент этого памятника, как ставили круглый постамент, сделанный из красного финляндского гранита и серого сердобольского. Знал Тарас, что ваятеля посетил в его мастерской сам царь Александр, чтобы взглянуть на работу.

Не понравился Тарасу и клодтовский памятник Крылову, поставленный в Летнем саду\*.

— Смешной этот барон, — говорил Шевченко. — Вместо величественного старца, посадил на пьедестал какого-то лакея в нанковом сюртуке, с азбукой и указкой в руках. Бедный барон без умысла обидел великого поэта.

Знакомые и друзья пытались возражать, уверяя, что Тарас, потеряв десять лет в Азии, ещё не привык к новым статуям, не убранным в античные тоги, без торжественной напряжённости в позе.

— Нет, это очень плохо! — утверждал Шевченко. Его не привлекали даже барельефы по бокам пьедестала, изображающие зверей, героев крыловских басен.

Шевченко знал, что, работая над этими барельефами, Клодт завёл у себя в доме «натуру», зверинец, из которого, надо полагать, и сбежала приبلудившаяся обезьянка.

Поднявшись по лестнице к поэтовой келье, друзья нашли на двери несколько свежих надписей мелом. В щеколде торчали записки. В одной из них было: «Не приедете ли вы к нам, дядько, в четверг вареники есть?» Другая приглашала

куда-то на крестины. Было и письмо из художественного магазина Дациаро, извещавшее, что выставленные для продажи рисунки г-на Шевченко уже проданы и можно притти за деньгами, что фирмой получены новые листы гравюр Рембрандта. Была записка от Борлакивской, с просьбой навестить её в субботу.

Пока поэт, извинившись, прочитывал письма, Катя искала обезьяну, осматривая каждый уголок.

Стараниями самого Тараса Григорьевича и солдата-слуги в мастерской поддерживалась удивительная чистота, и только сероватые стены прострели, исписанные карандашами да разными красками.

У окна висели пейзажи Калама \* и комнатный реомюр в медной оправе. В круглом дубовом футляре замерли незаведённые парижские часы. За ними торчали перья ковыля. Да и по всем стенам, всюду, где только можно было за что-нибудь зацепиться, виднелись пучочки всяких трав — барвинка, душистой руты, калуфера, любистка, чебреца, когорые, очевидно, должны были вдохновлять художника и поэта.

Из-за этого «зілля» даже возникали бурные ссоры между Тарасом Григорьевичем и старым солдатом. Прохор Михайлович не один раз выбрасывал вон это сено. Старый георгиевский кавалер понимал, в чём дело; его злило, что после всех ударов судьбы упрямый человек, — тоже ведь бывший солдат, — никак не может забыть те края, где имел несчастье родиться на свет.

Шевченко ничего с Прохором поделывать не мог, но к следующему приходу солдата на стенах снова появлялись душистые пучки. Так и оставалось тайной, откуда брал Тарас их здесь, в



Питере, далеко от родных степей и лесов. Далеко! Далеко!

Катя сорвала со стены сухой трёхпалый листочек, тёмный, блестящий, точно лакированный, прикусила зубами сухую ветку барвинка.

Зверька нигде не было.

— Не на антресолях ли?—спросил хозяин, подымаясь по скрипучей лесенке. Обезьяна сидела на столе, запустив лапу в стеклянную банку с огурцами.

Учитель с опаской взял мартышку на руки и пошёл вниз. Тарас глядел Старову под ноги, как бы тот, чего доброго, не оступился. Разбирала досада! Обезьяна, ясное дело, мешала работать, портила вещи, рисунки, пролила кислоту. Но всё-таки расставаться не хотелось.

Выйдя на Четвёртую линию, друзья повернули направо, к Литейному двору Академии, к так называемому Портику, где жил и работал профессор скульптуры барон Клодт.

Пройдя во двор, постучали с чёрного входа в обитую дранкой и рогожей дверь. Ответа не было. Постучали ещё раз. Немного обождав, Николай Дмитриевич вошёл в просторную мастерскую, освещённую двумя ярусами окон. Тарас и Катенька последовали за ним.

Очутившись в знакомом месте, обезьянка радостно запищала и стала рваться из рук.

Катенька остановилась у деревянной лестницы. На ступеньках лежал волк.

Могло показаться, что это чучело, но зверь двинулся навстречу гостям, облизываясь, словно перед лакомой поживой. Катенька схватила Та-

раса за рукав. Она была здесь не в первый раз, но встречаться с волком без барона ей не приходилось.

Поэт заслонил собою девочку, чуть замешкался, затем спокойно двинулся вперёд. Волк, понимая, что его не боятся, притих, даже отвернулся и убрал с дороги стройные лапы. Заметив на руках у пришельцев обезьянку, совсем по-собачьи постучал о деревянные ступеньки хвостом и подошёл ещё ближе, не пряча, впрочем, клыков.

Гости только теперь осмотрелись вокруг.

Всюду были камень, бронза и глина. В углу, в горне, плавился металл. В другом углу блеяла большая овца, суетилась кума-лисица, скучал на соломе, у ног медвежьего чучела, меланхолический ослик. Над всем этим возвышалась до самого потолка двухэтажной мастерской глиняная статуя Николая Павловича.

Потому ли, что вскрикнула Катенька, увидевши волка, или потому, что заскрипели расшатанные ступени, наверху появился хозяин, статный усатый человек, с висячим носом на морщинистой физиономии, с умным и проницательным взглядом серых глаз.

Увидев мартышку, он проворно и шумно бежал вниз, бросился к ней, схватил на руки, прижал к груди и лишь потом обратился к гостям:

— Рад видеть, рад. Прошу наверх. Только уж будьте любезны, умоляю, — простите старику некоторую... так сказать, экзальтированность. Приятный сюрприз! Я-то думал уже, что Манька моя пропала, проказница.

Тарас молча принимал изъявления благодарности. После бесчисленных житейских разочарований он и со старыми приятелями и с новыми

людьми стал осторожен, недоверчив, осмотритель. Ни бурная приветливость, ни даже слёзы радости, проливаемые разными «земляками» и благожелателями, не могли его теперь обмануть...

— Присядьте же, бога ради, присядьте, — суетился барон. Он был человек грузный, и эта суетливость к нему не шла.

Шевченко взял кресло, прогнав оттуда белую мышь. Огляделся.

Повсюду, где только было место, стояли и висели статуэтки, бюсты, барельефы. Больше всего было коней и всякого зверья.

Странная мысль вдруг пришла Тарасу в голову, вызвала усмешку, не задержавшуюся на устах: барон почему-то работал только над статуями зверей и... царей! Такое совмещение показалось очень странным и смешным. Но именно это было клодтовой специальностью.

Заметив улыбку на суровом лице Тараса, Пётр Карлович протянул к нему обе руки.

— Знаете, Тарас Григорьевич, я очень рад, рад случаю. Мне давно хотелось познакомиться ближе. Я столько, столько любопытного слышал про вас от нашего графа.

— А ваша слава, господин барон, дошла до меня и в далёкие киргизские степи. Только, правду сказать, я полагал встретить настоящего немца, думал, что господин барон по-русски и слова не свяжет. А вы...

Клодт расхохотался.

— Да ведь обо мне говорят, что я истинный русский, русский, как это... хлебосол. Приходите вечером, будьте любезны, сами увидите, сколько здесь бывает русских людей. Да и чего же вы хо-

тите? Как я могу оставаться немцем? Как? Всем, что есть у меня, всеми-то успехами своими я обязан русским государям. Вот, как и вы, например: слышал я, что даже из крепостного состояния вас выкупили на средства государя императора...

— Брехня! — не помня себя, закричал Тарас. Следы цынготных пятен ярко выступили на щеках. — Кто-то пустил по свету ложь, подлую выдумку про царский выкуп! Но, слово даю, не дешёво мне это обошлось, не дешёво, нет! До свиданья, барон!

Клодт смутился и схватил поэта за рукав.

— Куда же вы? Пообедаем вместе, будьте любезны. Очень вас прошу. А не то меня замучит мысль, что ушли вы в обиде на мою... неосведомлённость в ваших делах. Очень прошу!

— Меня, простите, работа ждёт.

— Сегодня воскресенье, Тарас Григорьевич! К тому же и обезьяна моя — не виновата ли пред вами? Надо проверить! — и, схватив мартышку на руки, барон вытер ладонь о свою серую безрукавку, затем, пощекотав зверька, стал вытаскивать у него из защёчных мешков всякую мелочь, спрятанную там прозапас.

В руках у барона появилась монета, затем — резинка, огрызок пастельного карандаша и ключик, без которого Тарас вот уже два дня не мог завести часы, столь необходимые в работе гравера-офортиста.

— Да вы фокусник!

— Прошу прощения, — поклонился барон. — За этими пройдохами нужен глаз да глаз. Ключик, будьте любезны, возьмите сейчас, а всё прочее заменю: вскоре должен получить от Дациаро превосходные английские резинки...

— У меня их большой запас!

— Не откажитесь отобедать,—учтиво приглашал барон.

— Я не голоден.

— У нас сегодня пирог, дупеля, ростбиф. Может быть, заказать что-нибудь малороссийское? По Гоголю! Как это у вас там называется... галушки-вареники? А?

## 20

— Может, взглянете на моих питомцев?

— Пожалуй, — согласился Старов, видя, что Тарас упорно молчит.

Роскошная конюшня, выстроенная между Портиком и академическим садом, была гордостью барона. Здесь были собраны образцы многих пород. Конюхов Клодт выписывал из Англии. Сюда заходили сановные любители и знатоки, да и сам царь. Частенько здесь бывал граф Фёдор Петрович, всё ещё, несмотря на восьмой десяток, несравненный наездник.

Лошади были страстью барона. Некоторые шугники даже называли его конюхом в искусстве и художником в коневодстве...

Пётр Карлович прикасался к лошадиным мордам, к ноздрям, будто к чему-то очень горячему, и пальцы его дрожали. Одевая любимцев сахаром, объяснял гостям достоинства каждого коня. Неприятно было, что Шезченко ходит по конюшне угрюмый, руки в карманах, понуриив голову, с обвисшими усами.

— Вы всё ещё сердитесь за некстати сказанное слово? Полно! Мы люди будто и хмурые, но чувство юмора не чуждо ни вам, ни мне. Я слы-

шал, вы, даже вспоминая о своих невзгодах, прячете горечь под покровом иронии...

— Эге ж, — отозвался Тарас. — Я и точно такого характера человек. Земляки мои, а с ними и я, не могут иной раз и самую строгую материю не проткать хотя бы деликатной шуткой. Земляк мой, знаете, иногда — неволью, конечно, — даже и в потрясающий финал «Гамлета» или ещё куда... вставит такое словечко, что и сквозь слёзы улыбнёшься.

Тарасу становилось скучно. Он неволью ловил едва заметные изъяны в произношении барона. Правда, он слышал, что Клодт вывел в люди не одного художника и иногда не жалел денег, чтобы помочь даже вовсе незнакомому человеку; барон слыл всюду шутником и затейником, хотя с первого взгляда казался человеком угрюмым. Шевченко ценил его талант, но всё-таки чувство неприязни таилось в душе.

Вошёл пожилой лакей, не торопясь поклонился и доложил:

— Кушать подано.

— Прошу, дорогие гости, к моей холостяцкой трапезе. Я одинок теперь... Люди, люди вокруг, а я — один. Один. Вот как и вы, Тарас Григорьевич. Супруга умерла. И один я теперь, как бирюк.

— Одинокой пчеле трудно и мёд носить, — вздохнул Шевченко, поглядел на скульптора, и стало жаль этого уже старого, прославленного всюду, богатого и в конце концов несчастного человека.

В столовой собирались домочадцы Клодта — тётушки, бабушки, племянники и племянницы и ещё какие-то родственники. Все они и не умещались за большим столом.

Сетования Клодта на одиночество разбередили старую рану.

Заглушая тоску, Шевченко нередко работал до самой зари. Сложная техника офорта в сочетании с акватинтой давалась ему с большим трудом. Дело было новое: до Шевченко в России никто не комбинировал этих двух способов.

О гравёрном искусстве Тарас мечтал ещё в ссылке, когда весть о возможном освобождении пробудила новые надежды.

— Быть хорошим гравёром, — говаривал он, — значит, быть распространителем прекрасного и поучительного в народе. Значит, быть полезным людям... Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, копилось бы в мрачных галлереях не будь чудотворного резца! Божественно призвание гравёра!

По возвращении в Петербург художник не изменил своей мечте. Зарабатывал деньги на покупку необходимых приспособлений. Познакомился в Эрмитаже с известным гравёром Фёдором Иорданом \*, хранителем эстампов императорской галлерей, и остановился, наконец, для первой пробы на эскизе Мурильо «Святое семейство».

Отточенные иглы и штихели лежали под рукой: Штопальная, остро отточенная спица, вбитая в ручку от старой кисти, ходила по медной доске. Тарас работал и пел. Рисовал по металлу украинскую девушку, грустную простолюдинку со свечой в руке; свет она прикрывала рукой; её освещённое лицо выступало из мрака; она смотрела так, будто перед нею — близкий, любимый человек, которого она ждала, ждала, волнуясь за

него, и вот, наконец, он пришёл, девушка встречает, а во взгляде — и укоризна, и радость, и любовь. Гравюра удавалась, но... это не было, — как хотелось ему, — лицо Марины. Не получалось... Вот её ушко с короткой мочкой, да — это оно; он смотрел на неё в продолжение вечера, пока девушка, сидя боком к нему, вышивала, говорил ей нежные слова, гладил по руке, читал стихи; взяв за руку, поглаживал её и глаз не отрывал от спелого рта; и очи, и рот, и розовое ушко — всё он помнил, и на гравюре всё получалось теперь, как надо, её глаза, её тяжёлые ресницы. И всё же это не была Марина! Взор художника, чтобы схватить и запомнить очертания, должен быть холодным и трезвым.

Очертания рисунка возникали на лакированной и закопчённой доске красной меди. Нужна была верная и твёрдая рука. А Шевченко уж слишком волновался, делал обидные промахи.

Ошибки исправлял тут же, покрывая повреждённые места жидким лаком. Дышал на него! Лак от дыхания становился матовым. Это значило, что он высох, что доску можно опускать в кислоту, разъедавшую в процарапанных местах незащищённый лаком металл. Контуры становились глубокими, как бы врезанными, и, смывши лак, Тарас забивал их масляной краской, затем покрывал доску влажной бумагой и делал оттиск, достигая замечательной сочности и выпуклости рисунка, своеобразной, неповторимой прелести и красоты.

Терпение испытывалось день ото дня. Иногда хотелось пойти побродить по городу, повидаться с приятелями, принять их у себя. Но время прогулок миновало, Тарас оставался дома. Комбинация офорта с акватинтой, мягко передающей полутона, усложняла работу несказанно\*.



Усталость отуманивала взор. Положив голову на руки, художник глядел в окно. Проклятое одиночество! Где-то на недалёкой церкви пробило три. Близилось пасмурное утро.

Осень! А в родных краях, пожалуй, ещё не кончилось бабье лето. Ночью аромат прибитых морозом увядающих трав плывёт над лугами. Последняя паутинка трепещет на почерневших стеблях. Прибрежные травы оседают на дно, похрустывают первые льдинки...

Люди спали повсюду тревожным сном. Наступала тяжёлая осень. Кто знает, был ли там, — у его сестры-крепачки, у Ярины, у братьев, — кусок хлеба? Кто знает... Писем не получал давно.

Положив голову на тугие кулаки, художник глядел в тёмное окно... так и засыпал.

## 22

— Тарас! Я хоть и пьян... совершенно пьян, а всё-таки вижу, чарка твоя пуста! Не играет в со- суде. Где влага?

— Выпита влага.

— Врёшь! Брешешь!

— Выпита, Николай.

— Он, конечно, врёт, господа? Врёт?

— Вы-пи-та!

— Эй, трактирщик! Ты не пьян? Поди сюда. Ты здесь, пожалуй, единственный трезвый чело- век. Взгляни на этого лысого усатого господина. Ну! Вот на этого... с утиным носом. Посмотри внимательно!

— Как прикажете-с.

— Скажи: нос у него красный?

— Помилуйте...

— Ну, говори, говори! Видишь ли, этот лысый господин утверждает, что он уже пьян! Этот самый лысый господин на нас в большой обиде: он тосковал в одиночестве, а мы вырвали работу из рук, вывели его из мрачной конуры... И он, по всем признакам, ведёт себя с нами вызывающе, этот лысый господин. Он утверждает, будто выпил сейчас одну... одну двухсотую часть сорокаведёрной бочки вина. Врёт! Что? Я очень картавлю? Ни черта! Врёт! Я же недаром кончал Медико-хирургическую академию. Для меня совершенно очевидно, что этот господин, с расчёпанными сквозняком усами, выпил всего четырёхсот семьдесят осмью часть упомянутой бочки! Я заключаю по его зрачку... Да-да! Ты, трактирщик, присмотришься внимательно. Видишь? Нет? Ну, так подавай ещё вина. Да поживей! Поживей, старый бурдюк!.. Он здесь же станет пьяным, этот господин, от твоей проклятой кислятины, не будь я Николай Курочкин, корабельный лекарь! И я его напою, этого лысого господина!

И вдруг затянул во весь рот песенку собственного сочинения:

Век я не пивал,  
Но друзья в миг жажды  
Мне винца бокал  
Поднесли однажды.  
Цвет-то мне его  
Как-то приглянулся:  
Вот я и того —  
Знаете — коснулся...

Трактирщик ушёл.

Прятели в молчании ждали, что будет дальше. Тарас, еле сдерживая улыбку, косился на жирную и бородатую физиономию Курочкина. Разбирал смех, Тарас хмурился, чтобы не выдать

себя перед пьяным вдрызг чудачком с этакой милой мордой. Семён Степанович Гулак-Артемовский\*, певец и композитор, первый баритон императорских театров, любимец самого царя, размазывал пальцем по столу красноватую лужицу. Непокрытая доска стола, рыхлая и пористая, за много лет насквозь пропиталась вином. Артемовский водил пальцем, перегоняя влагу из лужицы поближе к склонённой на стол плешивой голове Розалион-Сошальского. Помещик кутил не одни сутки и теперь уснул. Тарас наблюдал, как под его бледную щёку подтекает вино. Наблюдал с удовольствием, — до того надоел ему этот непременный кутила! Рядом с ним дремал молоденький студентик, Лиодор Пальмин, поэт, только что рассказывавший о стычке всего факультета с профессором богословия.

О споре с «лысым господином» все уже забыли бы, но Курочкин не унимался.

— Тарасенька! — кричал он. — Я поклялся двести тебя до такого же состояния, — и пальцем тыкал в пьяного помещика. — Я обещал это старому бурдюку, и ты не посрами меня, умоляю. Я не могу срамиться! Никто ещё не говорил, что Никола Курочкин — враль. Я лентяй, и циник, и поэт, но ни в Сирии, ни в Египте, ни в Питере, ни в Гамбурге самый последний гуляка никогда ещё не слышал, как Николай Степанович врёт!

Из погреба вино прибыло очень кстати, и снова все выпили. Тарас не пьянел. Тогда Курочкин снова обратился к трактирщику:

— Поди сюда, приятель. Что за вино в твоём кабаке? Все трезвы.

Гу-у-бы помочил  
Только так, покуда,  
Каплю проглотил.  
Вижу, что не худо.

Выпил... вичего!  
И не поперхнулся,  
И как раз того —  
Знаете — втянулся...

И снова обратился к трактирщику:

— Послушай, хозяин, послушай! Я, видишь, пьян сегодня... Рассуди! С этим лысым господином мы познакомились на обеде у графа! Познакомились полгода тому назад и сразу подружались. И вот, когда мы надумали вместе выпить, он не хочет пьянеть! И мне это обидно, и тебе, трактирщик, прямой убыток! А у меня предстоят важные события. Я, во-первых, надумал переводить стихи вот этого лысого господина. Во-вторых, я начинаю издавать «Санкт-Петербургскую медицинскую газету». Наконец, я собираюсь принять участие в журнале «Искра», который вскорости должен выпускать мой уважаемый братец. И вот...

— И совсем ты не пьян, — хитро прищурившись, заметил Тарас Григорьевич. — Все пьяные поют... А ты?

— Что-о? Если человек пьян, то он поёт? А если он поёт, то, значит, он пьян? А вот наш уважаемый Семён Степанович Артемовский всю жизнь поёт — и в Италии, и во Франции, и у нас! Значит...

— Значит, сейчас он совершенно трезв. Он сидит молча.

— Что-о? Семён Степанович! Как вы можете терпеть обиду? Тарас утверждает, что вы трезвы! Докажите, докажите! Спойте нам... «Как яблочко румя-ан»...

— Я по кабакам не пою.

— Мы его заставим петь!

— Как, Тарасенька?

— Очень просто. Мы сочиним и споём такую

песню, такую песню, что этот сибарит не выдержит и присоединится к нам. Мы его заставим петь даже в кабаке! Он запоёт.

— Конечно, запоёт. Мы его за сердце тронем.

— Да! Но, кроме того, меня учили петь ещё в солдатах! Пой, солдат, пой! Не хочешь, а запоёшь! Запоёшь, сукин сын! И, вы знаете, пел, вот этот самый, пред вами сидящий, отставной рядовой Оренбургского линейного батальона. Пел!

— Ну, а где же наша песня для Артемовского, Тарас?

Растолкав сонного помещика, объяснили ему суть дела. Затем все замолчали. Веселья как не бывало, стало почему-то грустно. Каждый думал о своём.

И вдруг Тарас запел. Хрипловатый голос его дрожал:

Горе порою пьянит, как вино,  
Горе слезами пьяно!

Курочкин подхватил. Петь он совсем не умел, но слова, удивительно нескладные, растрогали и Шевченко и всех приятелей:

Жил над Невой отставной рядовой,  
Рвался старик домой,  
Рвался старик домой,  
Плакал старик порой,  
Гневные слёзы лил,  
Пьяные песни пел:  
— Лейся, вино,  
Лейся, вино...

И Никола замолк. Песня ещё не сочинилась до конца. Но все молчали, пока вдруг не заговорил молоденький студентик Лиодор Пальмин. В такт он размахивал шпагой:

Лейся, вино,  
Лейся, вино,  
Лейся, песня моя,  
Лейся, злая моя!

Продолжение подхватили хором. Запел, не выдержав, и Артемовский, бас его зазвучал с удивительной силой, но этого, как ни странно, никто не заметил, все были увлечены другим, слушали, что пел Шевченко:

Лысый солдат, не качай головой,  
Пой! Пой! Пой!

И все подхватили за ним ещё раз, а после паузы Курочкин закончил. Слезы мешали петь, и он шептал:

Доживал над Невой отставной рядовой...  
Гневный товарищ мой,  
Добрый товарищ мой...

Тарас положил голову на руки. Все молчали. Стали подыматься из-за стола, пора было уходить. В трактире уже собирались обычные вечерние посетители. С песней «В понедельник Савка мельник, а во вторник Савка шорник» ввалился в дверь молодой паренёк.

Все вышли. Артемовский замешкался, не мог найти цилиндр и ждал, пока трактирщик лазил за ним под стол.

На улице, под проливным дождём, Курочкин, чтобы отвлечь Тараса от тяжких дум, разбуженных песней, сказал Артемовскому:

— Всё-таки вы, Семён Степанович, спели и в кабаке! Ага!

— Не выдержал. А всё Тарас. Вы знаете, Курочкин, меня всю жизнь преследуют лысые. Тарас Григорьевич заставил петь, а вчера наш лысый директор придрался за опоздание к спектаклю... От лысых жизни нет! Да! И вы знаете, сейчас вот в моей пьяной голове появилась блестящая идея: я придумал поругание,

страшную месть лысым аборигенам города Санкт-Петербурга. Да, да! Хотите, расскажу?— и Артемовский, довольный выдумкой, остановился и зашептал что-то на ухо Николе Курочкину.

— Скоро, Тарасенька, скоро уготована будет всем лысым страшная месть! Мы составили заговор... Берегись!

Про месть скоро забыли. Оставив товарищей, поэт поплёлся домой.

## 23

К ночи дождь усилился, и Тарас изрядно промок.

У ворот встретил его Соколов, помощник полицмейстера при Академии, которому было поручено наблюдать за Тарасом.

— И где это вы всё пропадаете, господин Шевченко? Ходите и ходите. Ходите и ходите... Устали, вижу?

— Эге.

— Что-то вы сегодня неприветливы.

— Характер такой.

— Портится... под старость? Я же вас помню ещё молодым человеком — в этих же самых стенах. Смешно! Вы вон как подались, и не узнать, а я всё без перемен. Хоть бы что!

Тарас вошёл в ворота и не спеша заковылял наверх.

Слова полицмейстера о прежнем знакомстве напомнили давнишнюю историю, грех, можно сказать, молодости. Тарас улыбнулся. Вспомнил, как жилось тогда — недавно выкупленному у помещика «вольноприходящему ученику» императорской Академии художеств.

Трудно жилось, — трудно, весело и голодно.

Поселился он тогда с товарищами в мокром подвале одного из четырёхэтажных домов Острова.

Шевченко, Штернберг, Пётр Петровский, Пономарёв и тихий в успехах Грицько Борлакивский, ученики «Великого Карла» Брюллова, дружили, объединённые любовью к украинским пейзажам и быту, молодостью и беззаботно переносимой нуждой.

Как-то раз Петровский должен был кончать заданную от Академии программную работу на библейский сюжет — «Агарь в пустыне». Срок истекал. Сама Агарь, прародительница бедуинских племён, была уже готова, но ангел, утешающий её в пустыне, Петровскому не удавался. Собственно, молодой художник никак не мог написать крылья.

Петровский ходил грустный, в мечтах ему являлась белая лебедь или даже обыкновенный гусь, с которого можно было бы писать белоснежные крылья божьего посланца. Но купить гуся или другую большую птицу было не на что. Как нарочно, друзья накануне истратили последние копейки.

Пономарёв и Тарас сочувствовали товарищу, но помочь не могли. Гриша Борлакивский божился, что отец забыл о нём и ничего не присылает уже полгода.

Шевченко знал, что это ложь. Рассердился. Хотелось наговорить сквалыге обидных слов, — а на это Шевченко был и смолоду горазд! — но плюнул и вышел — подальше от греха. Товарищи пошли за ним.

— Идём на Пески, — сказал Петровский. Там у него жила старушка-мать.



— А кто же на вечерние классы пойдёт? — спросил Тарас.

— Как-нибудь обойдётся! Зато пообедаем.

— Не пойду. Ступай один.

Приятели разошлись. А вечером, прогулявши время послеобеденных классов, Петровский снова засел за опостылевшие крылья, хогь, правда, его утешала уже некоторая возможность купить гуся: в кармане лежал раздобытый у матери серебряный рубль.

Но проголодавшемуся Тарасу вдруг пришла в голову отчаянная мысль. Он кивнул друзьям, чтобы заперли дверь, схватил Петровского под руки и ловко вытащил из кармана заветный целковый. Захватив шапки, все кинулись за ним.

В трактире «Рим» Шевченко, не медля, приказал подать по чарке водки, два бифштекса на четверых и, галантно раскланявшись, пригласил запыхавшегося Петра присоединиться к трапезе.

Вечером Петровский за работу не брался совсем. Да и к чему? По Васильевскому ходили табуны гусей, Петровскому мерещились длинные белые заострённые крылья. Ему даже почудился крик гуся... Но что это? Что? И впрямь где-то близко закричала птица.

Дверь вдруг распахнулась, и настоящий живой гусь вбежал в комнату.

Вскоре участь его была решена! Ангельские крылья Петровский дописал мигом, а гуся, порезав на куски, солдат-истопник сварил в самоваре. Все ели да похваливали. И только когда остались одни косточки, Петровский спохватился:

— А чей гусь?

— Полицмейстерский, — ответил Шевченко.

— Как это?

— Да так...—и Тарас выложил всё, как было.

На заднем дворе Академии бродил табун гусей, принадлежавший помощнику полицмейстера Соколову. Пономарёв и Шевченко, улучив минутку, когда поблизости никого не было, накрыли гуся шинелью и понесли. Это оказалось делом не лёгким. Сильную и сердитую птицу пришлось держать за клюв, за крылья, за лапы.

Петровский, узнав историю гуся, огорчился: крылья были уже написаны и есть уже не хотелось, а полицмейстер ещё мог признать свою собственность в ангельских крыльях на картине...

Но всё обошлось как нельзя лучше. Шевченко вскоре получил за какую-то работу немного денег и сам отнёс Соколову целых два рубля, — непомерную плату. А Петровского за удачную работу послали тогда же учиться в Италию.

Произошло всё это лет двадцать тому назад.

## 24

Как-то утром Катя постучала в тарасову дверь, украшенную предостерегающей надписью: «Нету дома».

Солдат приветливо встретил молодую графиню и пропустил к Тарасу в мастерскую.

— Вот мама бананы и груши прислала.

— Спасибо. Погодите, сейчас закончу... Не приближайтесь сюда! Здесь у меня вредные кислоты! Посидите на диване.

Ванночка с раствором кислоты, в которой лежала медная доска, покачивалась на его крепкой руке.

Бисеринки газа появлялись на широких, затем и на более тонких штрихах. Покачивая ванночку, художник сгонял эти пузырьки. Если не по-

могало, брал гусиное перо и смахивал их. Промыл доску, собрал разбросанные по столу мелкие инструменты — иглы, шабер, циркуль с загнутыми концами, кожаный валик, которым накатывался лак,—вымыл руки и с полотенцем на плече обернулся к Катеньке:

— Сейчас, сердце моё. Не пойдёте ли со мной в Эрмитаж?

Когда вышли из дому, Катенька напомнила, что на улице не курят, и Тарас бросил сигару в воду.

Пейзаж изменился, паруса исчезли. Начинались морозы. В сквере тоже было пустынно, безлюдно. Лето прошло, а пора зимних гуляний ещё не наступила. Всё здесь как бы замерло, только клочки сена ветер носил по пустынной площади.

Неподалеку от Биржи, у самого моста, приютился старенький фигурщик, давно потерявший надежду что-нибудь продать. На его лотке стояли гипсовые амурчики со скрещёнными руками и наполеоны, выкрашенные почему-то в розовый цвет.

Фигурщик косо поглядывал на какого-то парня в кучерской шляпе, очень некстати пристроившегося подле него со своим товаром.

Тарас Григорьевич остановился и поздоровался, приподнимая шапку:

— Здравствуй, голубе.

Парень поднялся, присматриваясь к странному господину, к его шапке, и даже руками всплеснул:

— Здравия желаем, барин! Здравствуйте. Вы тогда в шляпе были.

— Тебя Василем зовут?

— Васькой, барин.

— А что делаешь?

Васька вздохнул:

— Да вот... Хозяин торговать послал.

На мешке, разостланном по мокрой земле, стояло повторённое несколько раз изваяние ретивого коня, вырезанного искусной рукой из клёна или берёзы. Шестеро одинаковых коней стояли на всех четырёх ногах, не рвались на дыбы, но, казалось, даже поджилки у них дрожат, и вот-вот они рванутся вперёд.

— Да это сделал мастер! Дядя Тарас, купите!

— Ладно.

— Возьмите лучше Наполеона Бонапарта! — вскочил пожилой фигурщик, протягивая гипс.

Катя, увидав розового полководца, неловко пожалала плечиками и снова обратилась к деревянным коням.

Дома у девочки стояла на столе великолепная фигура, подарок самого барона Клодта: лошадь пьёт воду, вытянув шею и подогнувши правую переднюю ногу. То был чудесный конь, бронза, но деревянные фигурки на грязном мешке понравились во сто раз больше, хоть Катенька и сама не понимала, чем они пленили её.

— Что это такое? — вдоволь насмотревшись, спросил Тарас.

— Мой Буян.

— А делал-то кто?

— Да я же.

— Как это?

Паренёк, смущаясь, снял свою кучерскую с квадратной тульей шляпу. Видя впечатление, произведённое его лошадаками на благородную и нарядную барышню, оробел совсем.

— Рассказывай, хлопче... Ну, что же ты? Да шапку надень! Холодно.

Шевченко был заметно взволнован. Быть может, он вспомнил свою собственную историю —

первую встречу в Летнем саду с художником Сошенко.

— У меня, барин, тогда Буян пропал-таки... Когда сено горело на Неве. Да я и сам чуть было... да спас меня какой-то дед, — и юноша осторожно коснулся рукой своего обожжённого лица. Сбиваясь и путаясь, он всё же объяснил историю деревянных лошадок. Это была история обыкновенная.

Когда погибли в огне васькины питомцы, парень затосковал, загрустил, — один-одинёшенек в чужом городе. Где-то далеко, возле Рязани, жила сестра, крепостная другого помещика. Здесь же, кроме Буяна, не было никого! Потеряв своего любимца, Васька бредил им, вспоминал его облик, милую морду, шею, спину. Пальцы помнили ещё его теплоту, тянулись к материалу какому-нибудь, к глине, к сухому кленовому полену, чтоб на нём проверить воспоминание.

Такой вот линией изгибался широкий круп, узкая спина, округлённые бёдра. Юноша чувствовал под пальцами каждое движение коня и переносил всё это на дерево, пока не увидел, наконец, своего Буяна.

Найдя в каморке у конюха отлично выполненную статуэтку, барин, господин Болотов, изрядно пострадавший от пожара на Неве, приказал Ваське сделать несколько таких же фигурок и послал продавать...

Шевченко склонил голову.

Сколько он узнал за всю свою жизнь подобных историй! Сколько их, вот таких несчастных — меж двадцатью миллионами рабов! \* Так

же начинали когда-то и художники Тропинин да Кипренский, и зодчий александровского Петербурга — Воронихин, и друг Тараса Шевченко, неподражаемый Щепкин... Этот Васька был похож на того самого мальчугана в демикотоновом халатике, на «ничтожного замарашку», — как он сам говорил, — «грубого мужика-маляра» Тараса, бродившего по этим кварталам ещё до чудесного свсего перелёта с грязного чердака в великолепные залы Академии.

— Ты, голубе, — озабоченно сказал Тарас Григорьевич, — ты, Василий, приходи завтра ко мне домой. В Академию художеств. Знаешь? Войти надо с Третьей... Да вот я запишу.

У фигурщика покупателей всё не было, и он изумлённо прислушивался к разговору.

Шевченко вырвал из катиного альбома лист плотной бумаги, записал имя, адрес и отдал пареньку.

— Читать умеешь?

— Малость. Девушка одна — у соседнего барина в горничных. Грамотна... Научила меня.

— Хороша? Зачем же ты краснеешь? Ну, будь здоров... до завтра. Да смотри же, принеси коней своих. Барину скажешь: покупатель, мол, есть.

Тарас и Катенька пошли через мост к Зимнему. Девочка озиралась на смешного парня: такого коня сделал, а сам и не понимает!

Васька глядел им вслед. Потом, разобрав по складам на бумажке фамилию, воскликнул:

— Да я же вас знаю... — и уж язык не повернулся произнести привычное слово «барин». Ветер понёс его крик над водой. Новые знакомые были уже далеко — Так вот он какой... Шевченко...

О стихотворце Тарасе Шевченко Васька узнал от недавно приобретённого господином Болотовым повара Спиридона. Повар хранил в кованом сундуке маленькую затрёпанную книжку с непонятным названием «Кобзарь». К Спиридону захаживали истопники из соседних домов, поварята, кучера да лакеи— послушать «Полтаву», «Руслана и Людмилу», «Вечера» господина Гоголя, а то и «Козла-бунтовщика или Манину свадьбу»...

Ваське почему-то пришлось по душе звучные и не совсем понятные украинские стихи. Их читал вслух из той же заветной книжки соседский кузнец.

Повар Спиридон, выученик прославленной кухни графа Нессельроде, живавший с графом в Берлине и Париже, пользовался у господина Болотова относительной свободой. Был он любителем всяких искусств. Заметив васькины успехи в резьбе по дереву, он перестал угощать его подзатыльниками, начал величать Василием Митричем, а когда что-нибудь читали, уже не оставлял его у двери, приглашал поближе к столу.

По воскресеньям и двенадцатым праздникам Василий ходил смотреть картины в церквах и соборах, запомнил названное кем-то имя Брюллова. Узнал также, что лучшие картины хранятся не в храмах, а в музее — возле царских палат, в Эрмитаже, в который доступа юноше нет и не будет\*. Можно было только ходить в театр, и Вася посещал все райки, куда его водил тайком от барина всё тот же повар Спиридон. Во время действия Спиридону не раз приходилось дёргать паренька за ухо, чтоб тот не выражал столь громко свой бурный восторг. В антрактах парень слушал, как студенты и чи-

новники, залив жажду ковшом воды из ведра, стоявшего в углу, спорили о достоинствах актрис, о пьесе, о сочинителях, о чём угодно, даже о барабаншике в оперном оркестре. Почему спорят, Ваське было не понять; ему на сцене всё нравилось! И водевили Ленского да Каратыгина, и «Трубадур», и даже вовсе непонятный ему «Карл Смелый» в итальянской опере и — конечно — нашумевший спектакль «Всех цветочков боле розу я любил».

Молодой конюх хохотал, отыскав с приятелями в юмористическом журнале какую-то глупую картинку. На ней был изображён трактир. А в подписи — диалог между «гостем» и «человеком»: «Эй, любезный, произведи-ка мне газовое воспаление, чтобы посветлее было, да заведи-ка что-нибудь из мелодии...» — «Из чего прикажете-с? Есть из «Карла с мелом», «Труба дура», есть из «Черной Домны», из «Травоеды», всё, что заблагоугодно вашей чести будет».

Ваське было смешно, что известное ему «Черное домино» превращалось в «Черную Домну», а благородная «Травиата» — в «Травоеду». Позар Спиридон васькиного восторга не разделял, даже обиделся, когда паренёк показал ему глупую картинку.

Спиридон пытался привить Василию вкус, рассказывал об «Аскольдовой могиле», но паренёк мог простоять добрый час и перед какой-нибудь балаганной афишкой:

«Юлиус Гебгардт честь имеет известить, что в его новом здании, находящемся на набережной речки Мойки, близ Пешеходного мостика, противу отделения почтовых карет — в субботу, воскресенье и понедельник —

Люди-феномены или антиподы многообразных сил природы, а именно:



1) Мисс Юлия Пастрана, которая, между прочим, исполнит русскую пляску, бородатая женщина;

2) Белая негритянка или девушка-альбинос и

3) Карлик синьор Пикколомини»...

О первом из этих феноменов, о мисс Юлии Пастране, почти ежедневно писали во всех журналах и газетах столицы и провинции. О ней сочинялись легенды, легкомысленные песенки и анекдоты. Прославленная по всему свету, Юлия Пастрана была «чем-то средним между обезьяной и некоторым подобием человека»...

Васька ходил поглядеть и на эту прославленную мисс, хаживал и в Маринский — поглазеть на карликов-немцев, и затем рассказывал обо всём, что видел, соседской горничной.

Редкие и случайные встречи, когда горничную посылали с важным письмом или в лавку, были очень печальны.

В свободные минуты паренёк слонялся у её окна. Время в ожидании проходило незаметно, и Васька опаздывал домой.

Утром господин Болотов приказывал свести Ваську на конюшню и хорошенько выпороть.

А потом, при подвыпивших гостях, устраивал представление, спрашивал:

— Васька! Что общего между чепухой, одеждой и тобой?

Парень, под угрозой наказания, должен был браво отвечать:

— И то, и другое, и третье по р е т с я, барин!

## 27

В Эрмитаж за Катенькой прислали с лакеем карету. Графиня зачем-то звала дочку домой.

Шевченко собрался было ехать с нею, но

возле украшенного кариатидами подъезда, на Миллионной, встретился с Семёном Артемовским-Гулаком и пошёл с ним обедать, куда-то на Невский, в ресторан Вольфа, что ли.

Площадь была пустынна. Над Зимним дворцом был поднят штандарт. Это значило, что царь пребывает в столице. Часовые подле дворца и Александровской колонны стояли неподвижными куклами, глядели на Семёна с почтением. Он был в цилиндре, в тяжёлом модном пальто, в небесно-голубых перчатках, важный барин.

Шли, болтая о всякой всячине. Семён рассказывал, как у него подвигается работа над оперой «Запорожець за Дунаєм», что успел написать.

Вдруг, припомнив что-то, Шевченко спросил:

— А где же страшная месть?

» Кому? Какая?

— Забыл? Да всем лысым же! До чего же ты пьян был, Семён!

Припоминая, о чём речь, Артемовский загоготал, испугав часового у Генерального штаба.

— Хорошо, молодец, напомнил! Жди и берегись! Месть будет воистину страшной.

— Хорош друг! — и Тарас хлопнул Семёна по плечу.

Приятели выходили через арку Штаба на Невский.

На перекрёстке стоял толстый, видный городской в тёмносерой шинели, с жестяной бляхой на груди.

Был час, когда франты покидали проспект, уступая его до вечера чиновному и деловому люду.

Невский имел ещё вид неряхи, не было присущего ему блеска. Кое-где торчали леса — на новых домах и надстройках, всюду было наляпано красками, штукатуркой, окна аристокра-

тических домов еще белели, замазанные мелом. Да и витрины ещё не приобрели обычной зимней торжественности.

Улицы были разрыты. В столице прокладывали первый водопровод и газовые трубы. По тротуарам надо было ходить осторожно, чтобы не упасть в канаву.

Семён Степанович говорил без умолку. Рассказывал о своём давнишнем «прожекте» прокладки столичного водопровода, лучшем и более дешёвом, когда-то забракованном «отцами города».

Актёру-непоседе мало было театральных дел. Жажда деятельности не давала покоя. То он сочинял проекты водопровода, то просто озорничал, то хлопотал об издании какого-то акафиста богородице — для бесплатного распространения, то строил себе дачу, то вдруг изучал историю и статистику города Петербурга.

— А сколько в этом городе школ? — приставал он к Тарасу.

— Не знаю. Мало.

— Да, семь уездных, десять приходских. А в них, в этих десяти — семьдесят один ученик, но крестьянского звания — только один.

— А сколько в городе церквей? — спросил Тарас.

— В этом году двести семьдесят девять монастырей, церквей и часовен.

— Тьфу! — сплюнул Тарас. — Всё-таки меньше, чем кабаков и публичных заведений.

— Вот не люблю таких разговоров, — поморщился Семён, даже рассердился. Он чтит память матери своей, Варвары Арсеньевны, воспитавшей его в благочестии.

Шли молча. Встретили озабоченного чем-то Кулиша. Нагружённый бумагами, он куда-то

спешил. Кивнул им, повернул и, сохраняя молчание, пошёл рядом.

Невский кипел. Покрикивали кучера карет и колясок. Гремели палашами блестящие офицеры Генерального штаба, гарцовали кавалеристы, тощие клячонки тащили омнибусы, гитары, голубые извозчицы кареты.

Шевченко всматривался в лица встречных чиновников, водоносов, барынь, молоденьких прачек. Взглядом провожал старушку, возвращавшуюся из церкви с просвиркой в узелке.

Дамы щеголяли в парижских кринолинах. Всюду была комбинация трех цветов, модных той осенью: каштанового, чёрного и зеленого. Шляпки, сшитые на разные фасоны и вкусы, выдавались, по моде, на лоб мысками.

— Мода меняется, — сердито сказал Кулиш, — но и сейчас мы встречаем здесь всё те же шляпки, те же шляпки, о которых говорил ещё наш неподражаемый Гоголь. Помните? «Тысячи сортов шляпок, платьев, платков пёстрых, лёгких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владелиц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над чёрными жуками мужского пола»...

Семён еле успевал раскланиваться. Знакомых было множество, не меньше, чем у Тараса на окраинах города. Артемовского знал весь петербургский «свет». Дорогой к нему пристали, чтобы итти вместе обедать, двое пронырливых актёров, какой-то пьяненький граф или князь.

С улицы зашли все покурить — в кондитерскую, в одну из тех, которые на проспекте в последние годы устраивались на парижский манер: стены пестрели французскими надписями, мебель

была какого-то странного фасона, инкрустированная слоновой костью и бронзой. На столиках лежали кучи журналов и газет со всех концов света, театральные афиши, на которых встречалась и фамилия самого Артемовского, и, привлекая особое внимание, — имя какого-то негра, трагика, гастролы которого ожидались в Петербурге.

Выкурив «по одному папиросу»<sup>1</sup>, выпив по рюмке джина и проглотив по десятку устриц, вся компания снова пошла на улицу. У магазина Оже внимание привлёк мастерски выполненный портрет графа Фёдора Толстого.

Тарас начал было что-то рассказывать о Толстом, но вдруг остановился на углу у одного из мостов. В боковой улочке суетился возле слепой клячи измученный, обледеневший водовоз; его профессия доживала в центре города последние дни, ей суждено было исчезнуть с окончанием работ по прокладке водопровода.

Лошадёнка билась, застрявши в ухабах мостовой; падала, пар клубился над ней. Водовоз поглядывал, не подойдёт ли кто на помощь.

Тарас глядел на лошадь, на обмёрзшую бочку, выкрашенную жёлтой краской (это обозначало, что вода из Фонтанки; из Невы-то возили воду в белых бочках, а из каналов — в зелёных!), — оглянулся на спутников и сердито сплюнул. Сняв перчатки, отдал их Кулишу, сошёл на грязную мостовую и крепким плечом нажал на бочку, но водовоз, ошеломлённый появлением барина, забыл и думать о деле.

— Ну, чего стоишь? — крикнул ему Тарас. — Давай! Держись!

---

<sup>1</sup> Вот так тогда и говорили: «крепкий папирос», «новый пальто».

Бочка поехала дальше, и Тарас вернулся на панель. Там стоял Семён, один. И Кулиша, и всех приятелей как ветром сдуло. Семён, приподняв над головой цилиндр, отирал платочком пот.

— Я человеку помогал, а тебя в пот бросило, Семён? А? Ну-ну! — И Тарас крепко выругался.

## 28

Был день приёма, воскресенье, как раз то время, когда начинаются сумерки, но рано ещё зажигать свечи.

Графиня Анастасия Ивановна, в вечернем туалете, устало ходила из комнаты в комнату, отдавала слугам последние распоряжения, осматривала, прежде чем начнут собираться гости, каждый уголок квартиры. В зале кто-то без устали колотил по одной клавише фортепьяно. Звук, тоненький и назойливый, проникал во все уголки дома. Это, перед приходом гостей, работал настройщик, старенький суфлёр из Мариинского театра.

Катенька пробиралась за мамой на цыпочках, затем забегала чуть вперёд, заглядывала в её светлые глаза, в некрасивое и милое лицо.

Катя касалась оборки её кринолина. Это было приятно. Перед приходом гостей девочка всегда заметно волновалась, и это прикосновение будто успокаивало её.

Иногда, бывало, графиня в полутёмной комнате внезапно обнимала дочку, говорила что-то невинное, горячо целовала в пышные косы, в её выдающийся вперёд «толстовский» подбородок

— Катя! Катенька! Катюша...—и вдруг, заду-

мавшись, остывала так же внезапно. Катенька останавливалась, немного даже напуганная внезапным проявлением материнской ласки.

Графиня, ссутулившись, шла на свою половину, а притихшая девочка разыскивала Оленьку, брала за руку и водила по гулким, ещё пустым комнатам.

Всё здесь казалось таинственным, непривычным. Своды большого двухсветного зала уходили ввысь. Сумерки смягчали белизну статуй, будто оживляя притаившиеся фигуры.

Настройщик был ещё в зале, но казалось, что уже нет его. Он работал ошупью, в темноте, — и только слышно было шуршанье рук его по клавишам, по молоткам, по сукну. Чуть слышно гудели басовые струны фортепьяно. Старик слегка ударял по клавишам и долго слушал. Работа была сделана, но ему не хотелось отсюда уходить.

В такие минуты всё здесь будто спало. Тут властвовал Морфей. Катя любовалась его мраморным бюстом, изваянным руками графа.

Сонная улыбка на полуоткрытых устах Морфея была слегка насмешлива.

Настройщик прислушивался к шагам девочек и шептал: «И вот жезлом невидимым своим Морфей на всё неверный мрак наводит. Темнеет взор, рука на стол валится, а голова с плеча на грудь катится... вы дремлете».

Оленька прижималась к сестре. Стариковский шопот пугал её, и впечатление таинственности ещё усиливалось от опасения, что вот-вот позвонит кто-нибудь из гостей.

Дети произносили по-английски несколько приветственных фраз, просили старого настройщика:

— Спойте нам.

— Please, please, my darling.. — и старик, че-

ловек очень образованный и жалкий, встал, низко поклонился девочкам и, закрыв модератор, еле слышно аккомпанировал и пел — голосом слабым и сильным, как у всех шептунов-суфлёров:

Спешу, настройщик, на работу.  
Здесь, видно, ждут гостей опять...  
Из фортепьян за нотой ноту  
Садись тоскливо выбивать!  
Забудь на время в этом зале,  
Что снег и холод на дворе...  
Приладь свой ключ... нажми педали...  
До-ре, до-ре!

Настройщик пел всё тише и тише, боялся, как бы не услышали его слабенького голоса там, наверху, в графских покоях, пел и дивился своей неслыханной смелости, но отказать милым девушкам не мог, — юные графини всякий раз так трогательно просили его, нищего и смешного старика, просили исполнить песенку знакомого всем поэта, бывшего домашнего лекаря Толстых, Николая Степановича Курочкина:

Без жалоб глупых до могилы,  
Бедняк, свой тяжкий крест неси...  
Погибли молодые силы!..  
Фа-соль, ля-си...

Слабеющий голос старика словно уходил куда-то вдаль. Он молча сидел, склонясь к инструменту, и слушал его умирающий звук, как это умеют делать только настройщики да ещё стерегущие чью-нибудь жизнь больничные сиделки.

И девочки прислушивались к улетающей песенке, к голосам и звукам родного дома. В прихожей раздавался звонок. Слуги вносили в залу и в гостиные множество свечей. Правый угол



тёмного здания Академии вспыхивал огнями, освещая набережную.

Раньше, бывало, узнав о приходе гостей, Катя опрометью убегала на антресоли в свою комнату, либо пряталась на лестнице, ведущей в соседнее с залой помещение, где стоял среди цветов бюст отца. На верхней площадке были деревянные перила, а за ними, в стене — большая лежанка. Там, между лежанкой и поручнями, было её любимое место. Оттуда Катенька наблюдала, как горничные гадают на святках, жгут бумагу, плавят воск. Оттуда же смотрела на фехтованье, которым увлекался граф. Девочка принимала упражнения за настоящую драку и переживала каждый неверный выпад отца.

Теперь, когда приходили гости, Катя уже не пряталась на лестнице. Уже можно было, к великой зависти Оленьки, сидеть вместе с гостями, прислушиваться к разговорам, часто непонятым, но пылким и страстным... Было такое время, тот самый 1858 год, когда ещё казалось, будто после всего страшного и тёмного, что так долго царило в России, люди смогут свободно вздохнуть и что-то сделать полезное для отечества и народа, возвышенное и смелое. Это был короткий период некоторого мнимого просветления перед ещё более тёмными и страшными временами. В России в тот год настало будто бы некоторое цензурное облегчение, скоропроходящее и сомнительное: издавалось много книг, в одном Петербурге появилось около двухсот названий листков, журналов и газет... После Крымской кампании, с приходом нового царя, стали ждать в России реформ и облегчений. Люди спорили, говорили и не могли наговориться. В салоне у графини Толстой эти встречи и разговоры проходили свободно и непринуждённо.

Писатели, актёры, музыканты и художники считали большой честью получить приглашение к Толстым.

Гостей у Толстых по воскресеньям бывало полным-полно. Являлся величественный и уравновешенный Иван Тургенев\*, Мей, сидевший всегда с видом недовольного и страждущего человека; чаще других заживал живой и рассеянный Полонский, бывший учитель Катеньки, с которым ей и теперь иногда хотелось побегать по комнатам; наведывался и ласковый Майков, бесхарактерный и непостоянный; встретивши Старова, он не расставался с ним весь вечер. Приходил иногда и молодой родственник Толстых— Лев Николаевич, военными рассказами которого тогда уже зачитывалась вся грамотная Россия.

Но одной из первых приманок в салоне графини Толстой был известный русский поэт Николай Щербина, запальчивый сын украинца и пелопонесской гречанки, прославившийся своими «Греческими стихотворениями» и ядовитыми эпиграммами на всех и всё, на друзей и врагов. Поэта боялись, но и льнули к нему: с ним никогда не бывало скучно. Щербина осмеивал ближних, рассказывал анекдоты и любопытные приключения. Иногда пахло литературным скандалом, иногда просто было весело. Вокруг этого маленького человечка собирались все гости графини.

Забывали о нём разве в те минуты, когда в салоне вице-президента подходил к фортепьянам друг самого Бетховена, Антоний Контский, или соглашались спеть что-нибудь де-Бассини или Артемовский, Леонова, Петрова, да мало ли кто ещё!..

Придя в тот вечер позже обыкновенного, Тарас Григорьевич застал у Толстых множество знакомых

Шёл какой-то шумный и невнятный спор. Лакей торжественно доложил:

— Тарас Григорьевич Шевченко.

Поэта приветствовали. В салоне, где Шевченко был в почёте, этого требовало если не искреннее расположение к поэту, то хотя бы показное уважение к графине.

Лорнеты любопытных дам уставились на Тараса. Шумно, с искренней радостью, встречали его Артемовский и Кулиш. Навстречу, из-за чайного стола, встала хозяйка.

Женщина эта, без всяких усилий, была в своём салоне центром внимания, умела развлечь и объединить разнородные интересы гостей. Это признавали все. Но за её спиной иногда говаривали иначе — о жеманстве и притворстве графини, о самовлюблённости этой уже пожилой, некрасивой, но всё-таки обаятельной женщины. Это была, возможно, зависть! Но, как-никак, под влиянием графини даже такой мизантроп, как Пантелеймон Кулиш, которого приглашали, чтобы сделать приятное Тарасу, порой оживлялся, говорил с подъёмом, отвлекаясь от разговоров с графом Толстым... Он способен был часами мучить Фёдора Петровича скучными рассказами: говорил монотонно, сидел неподвижно, глаз не сводя с орденов на его груди...

Тарас поспешил к столу.

— Привет вам, графиня моя. Видеть вас — наибольшее счастье!

Между графиней и Тарасом Григорьевичем дружеские отношения украшались, даже с глазу на глаз, некоторой торжественностью.

Поздоровавшись, Тарас Григорьевич сел у стола и прислушался к спору, разгоревшемуся перед его приходом. Старов и какой-то старичок,

в звёздах и орденах, спорили о знаменитом актёре Самойлове, собственно о том, понимает ли он вообще Шекспира, исполняя роли Лира и Гамлета.

Тарас хотел было вставить в спор и своё резкое слово об актёре, но графиня спросила его:

— А вы слышали? Слыхали? Спор начался из-за того, что говорили о негре Олдридже. Через две недели он будет здесь!

— В Петербурге?

— Да, в Петербурге. И здесь, я уверена, в этом зале. Он ведь известен всему миру... Завтра я покупаю несколько лож в театре-цирке.

— В цирке? Он будет играть с немецкой группой?

— С немецкой.

— Я же говорил: наверно, балаган какой-нибудь, — заметил Тарас.— Ну, конечно, балаган! Это же кощунство — показывать в таком театре Шекспира. Кощунство.

## 29

Семён Степанович Артемовский-Гулак спел арию Руслана.

Слушатели сидели молча. Рукоплесканий не было: высшая похвала!

Семён даже не поклонился. Подошёл к Тарасу, который в уголочке, неподалёку от бюста Морфея, уже успел заспорить с Паньком Олельковичем. Очевидно, и арии Руслана не слышал, и не видал ничего, такие яростные огоньки вспыхивали в серых глазах поэта и золотили их.

Семён; насмешник, со свойственным ему пылом хотел было вмешаться в спор, не узнав даже, о

чём идёт речь, но в этот миг важный лакей доложил:

— Николай Фёдорович господин Щербина!

На пороге встал, с платком в руках, небольшой смуглый человечек, с необыкновенно блестящими глазами, смотревшими на всех исподлобья — насмешливо и сердито.

— Здравствуйте, господа. — Он выговаривал слог за слогом, заметно заикаясь. Ему ответили весёлыми восклицаниями. — Ну и погода! Проклятый климат и проклятый город! — Эти слова вырвались у Щербины невольно. У него, жителя юга, всегда болело горло, питерский климат убивал его.

Брюзгливое замечание, вместо приветствия, никого не удивило. Но рассудительный Кулиш вдруг возразил ему:

— Не говорите так! Петербург замечательный город. Какой волшебной силой наэлектризованы здесь люди!

Щербина удивлённо обернулся. Он и раньше встречал здесь угрюмого издателя, но будго не замечал его. Теперь поглядел с насмешкой. Кулиш не отвёл пронзительного взгляда, хотя мнение о Петербурге он высказал так, между прочим, да и менялось оно, как и все его мнения и настроения, очень часто — в зависимости от обстоятельств. Но хотелось, непременно хотелось подразнить этого маленького и яростного человека, потому-де бояться языка его, быть может, все, кроме него, Пантелеймона Александровича Кулиша.

Но Щербина возражал ему совершенно спокойно:

— Петербург по сравнению с Москвой кажется мне городом ограниченным, кроме, пожалуй, дел узко житейских.

— Du choc des opinions jaillit la vérité<sup>1</sup>. Но я, Николай Фёдорович, не согласна ни с вами, ни с вашим противником,—отозвалась Анастасия Ивановна, передавая Щербине чай.

— С моим противником? Вот этот господин, — не имею чести знать, — воображает себя отважным человеком? Поддел, мол, самого Щербину! Я угадал?

Будто не замечая грубости, графиня продолжала:

— Не согласна! Петербург против старушки Москвы — юный красавец.

— Но, простите, графиня, простите! Разумная и мыслящая Москва — всё же столица всего народа! Недаром же всякая простая девушка, мужичка, в самом отдалённом захолустьи Велико-россии поёт не о нашей Северной Пальмире, а о своей «матушке Москве белокаменной». А Питер? Эх! — и, вдруг сорвавшись с кресла, маленький, чёрный, жучком отскочил от стола, зацепился за ковёр, не заметил; стоял с минуту, склонив набок голову, сунув руку за жилет, неподвижно, сосредоточенно. И внезапно, полуобернувшись к Кулишу, смешно выставил ногу вперёд и прочёл злой экспромт.

Николай Фёдорович немного заикался, и оттого казалось, что дыхание его прерывается от злобы.

В зале наступила тишина. Эпиграмма относилась, собственно, ко всем присутствующим. Но неловкость вскоре прошла, как и всегда после выступлений Щербины. К нему привыкли и не обижались.

Щербина опустил в кресло, будто после тяжёлого труда, с одышкой прилягивался к чему-то и вдруг обернулся к окнам:

---

<sup>1</sup> Из столкновения мнений рождается истина (франц.).

— Опять эти цветы? — сердито спросил он, ни к кому, собственно, не обращаясь. — *Trop de fleurs!*<sup>1</sup> Терпеть не могу.

— Что вы? — встала с места графиня. — Вам трудно дышать?

— Новый каприз, — заметил Кулиш. И прибавил, наклоняясь к Артемовскому: — Даже и здесь его боятся. Смотри-ка! Смотри!

И точно. В зале поднялась суета, появились горничные и лакеи. Похоже было, что пришли артельщики переселять кого-то на новую квартиру. Впопыхах они выносили в соседние комнаты все вазы и жардиньерки. Щербина стоял среди им же затеянной кутерьмы, и ему было не по себе.

Решившись на что-то, он подошёл к Анастасии Ивановне и громко, чтобы все слышали, сказал:

— Извините, графиня, простите греку злой язык и скверный характер.

— Недаром говорят, — шепнул соседу Кулиш, — что графиня — любовница этого грекоса. И вкус же у неё!

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказала графиня. — Я понимаю: поэт мечтает о солнце родной Греции, и ему трудно переносить петербургский холод, туман и дождь. Ну и, — графиня мило улыбнулась, — невольны являются капризы.

— Благодарю, — печально улыбнулся Щербина. — От имени поэта спасибо вам.

— Вы не поэт, а сквернослов! — снова вырвалось у Кулиша неосторожное слово.

— Вы так думаете? — иронически прищурав глаз, осведомился Николай Фёдорович. — Чи-и-и читали мои стихи?

— Читал.

---

<sup>1</sup> Слишком много цветов (франц.).

— С-с-с-спасибо! Но мне вот сейчас разъяснили: в-вы грешите в том же жанре.

— Tous les genres sont bons, hors le genre...<sup>1</sup>

— Знаю, — прервал Щербина. — Но вы-то грешите именно в скучном.

— Будет ещё одна эпиграмма! — зловеще прошептал кто-то.

— Что же касается поэзии, — продолжал Щербина, — п-п-простите за правду, есть один только настоящий меж нами искры божьей поэт. Я хочу, графиня, я хочу, чтобы изгладить дурное впечатление от нашего разговора, п-п-попросить вот... — и Щербина поклонился, — Тараса Григорьевича... почитать что-нибудь.

Графиня одобрительно кивнула головой.

— Я только что хотела сделать то же самое:

— Видите ли, господа, — продолжал Щербина, — у Шевченко характер более гневный, чем у меня. Но злым его не назовёшь. Он добрый человек, а гнев такого человека должен быть страшен. Вы простите мне эту еретическую мысль, земляк... Но про вас, мой поэт, я даже эпиграммы сочинить не могу. Не могу! Вот...

— Читайте «Долю», — обратилась к Тарасу графиня, понимая, что разговор ему неприятен. — Это тронет господина Щербину.

Тарас не отказывался, хотя кое-кто из гостей был ему и не слишком приятен: иные из них всю глазели — вот невидаль! — на возвратившегося из солдатчины поэта. Он замечал общий к себе интерес и даже шутил, бывало, что боится, мол, стать модной в Питере фигурой.

Он, после пустыни, даже ничуть и не одичал. Воля его осталась несокрушённой. «Всё это не-

---

<sup>1</sup> Все жанры хороши, кроме скучного (франц.).



исповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе... Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо!»

Ха! Смешно! Он даже не разучился носить фрак! Ей-богу, смешно! Ему ведь когда-то майор Мешков, чтоб задеть за живое, доказывал, что, став офицером, Тарас не сумеет в порядочную гостиную войти, если не научится, как следует бравому солдату, вытягивать носки сапог...

Тарас, и точно, в ожидании, пока все умолкнут, посмотрел на носки ботинок, улыбнулся и начал читать обращение к собственной судьбе, последнее его стихотворение, написанное не так давно, в Нижнем Новгороде:

Ти не лукавила зо мною,  
Ти другом, братом і сестрою  
Сіромі стала. Ти взяла  
Мене, маленького, за руку  
І в школу хлопця одвела  
До п'яного дяка в науку.

«Учися, серденько; колись  
З нас будуть люди!» — ти сказала,  
А я й послухав, і учивсь,  
І вивчився. А ти збрехала.  
Які з нас люди? Та дарма!  
Ми не лукавили з тобою,  
Ми просто йшли, — у нас нема  
Зерна неправди за собою...  
Ходімо ж, доленько моя!  
Мій друже вбогий, нелукавий!  
Ходімо дальше: дальше слава,  
А слава — заповідь моя<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ты не лукавила со мною, ты другом, братом и сестрою бедняге стала. Ты взяла мою младенческую руку и в школу хлопца отвела к нетрезвому дьячку в науку. «Прилежно, сирота, учись, мы выйдем в лю-

Кулиш, слушая, морщился. Когда Тарас кончил, Старов бурно выражал своё восхищение. Графиня воскликнула: «Ah, que c'est beau!»<sup>1</sup>. А Щербина подошёл к Тарасу Григорьевичу с теми же словами:

— Как это прекрасно! Мы не умеем так писать. Хоть меня самого судьба не баловала, как и вас... Спасибо!

Его чёрные на выкате глаза блестели. И вдруг он заплакал. Неожиданно. При всех!

Все встали. Плакал тот, чьего языка боялись, плакал больной и одинокий человек. Он потешал весь вечер общество и уходил на ночь в трактир Палкина, пил чай, работал, читал или, чаще всего, о чём-то думал до самого утра\*.

— Что с вами? Почему вы плачете? — спрашивала графиня. — Расскажите. En racontant ses maux souvent on les soulage<sup>2</sup>.

## 30

Васька никак не мог отважиться.

Несколько раз приходил к Третьей линии. Смотрел на окна, заглядывал в ворота Академии, боязливо озираясь на дворника-солдата, даже поднялся было до самой двери, но мигом сбежал вниз.

---

дй!» — ты сказала. Учился я. Но не сбылись твои слова, и жизнь не стала к нам благосклоннее сейчас! Но были честны мы с тобою, мы прямо шли и нет у нас зерна неправды за собою.. Пойдем же, доленька моя, мой друг убогий, нелукавый! Пойдем и дальше: дальше слава, а слава — заповедь моя.

<sup>1</sup> Ах, это прекрасно! (франц.).

<sup>2</sup> Рассказывая про своё горе, часто его облегчашь (франц.).

Тарас Григорьевич увидел паренька, случайно взглянув за окно. Постучал ему в стекло и пошёл встречать.

В комнате паренёк обметал снег, вытирая сапоги. Кинулся было к руке, но Тарас привлёл его и поцеловал в лоб.

— Садись, голубчик. Принёс?

Кони лежали в мешке, каждая фигурка бережно переложённая сеном.

Присев на пол, Васька вынимал фигурки и ставил подле себя.

— А это что-то новое?

— Ага... — и спросил: — А барышня где?

— У себя дома.

— А я думал, уж не ваша ли дочка?

— Нет, голубе.

— А я знаю вас... — начал было Васька и смутился. — «Тяжко-важко в світі жити, — продолжал он тихо и застенчиво, с невозможным и очень трогательным русским акцентом, — сироті без роду: нема куди прихилитися, хоч з мосту та в воду»... Я напам'ять знаю...

— Вася! Голубчик! Как же это?

Вася ещё больше смутился. И, чтобы как-нибудь скрыть своё смущение, читал дальше:

— «Утопився б молоденький, щоб не нудить світом, — утопився б, — тяжко жити, а нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збирає; а моя десь, ледащиця, за морем блукає»<sup>1</sup>.

— Вася!

Василий робел, но потом всё-таки рассказал о

---

<sup>1</sup> Тяжко, тяжко жить на свете без семьи, без роду: негде голову склонить мне, — хоть с моста да в воду! Лучше было б молодому с жизнью распротиться, — утопился б: жить мне трудно, негде приютиться! У иного доля — в поле колосья собирает, а моя — горемычная — за морем блуждает.

поваре Спиридоне, о чтении «Кобзаря», о театре, о господине Болотове.

Тарас обрадовался. Знакомство его с пареньком выходило как будто и давнишнее и хорошее. Каждая весточка о том, что стихи его читают в народе, радовала Тараса несказанно, заставляла забывать о равнодушии критики, просвещённого общества. Самой высшей наградой ему были слёзы волнения и благодарности на лице читающего простолюдина, гнев, разбуженный горячим словом.\*

Поэт рассказал, что он когда-то вот так же, как сегодня Василий, бежал прочь от квартиры художника Сошенко, придя к нему впервые, бежал, комкая в потных от волнения кулаках свои рисунки.

Шевченко рассказывал: о своих скитаниях, о глумливой судьбе... Но беседу прервал внезапный и сильный стук в дверь.

Открывши, Тарас Григорьевич увидел на лестнице высокого жандарма, с большой и туго набитой папкой. Выглядел он настоящим Голиафом. Странная, словно бутафорская форма увеличивала его высокий рост.

Тарас Григорьевич побледнел, сердито спросил:

— Кого надо?

— Оставного рядового Оренбургского линейного батальона Шевченко Тараса Григорьева сына.

— Я.

— Ты? Приказано передать! — и жандарм протянул Тарасу папку. — Дашь расписку.

Взяв папку, Тарас Григорьевич раскрыл её и радостно оживился, засмеялся даже, не обращая внимания на жандарма. В папке были его старые рисунки. Их отобрали у Тараса при аре-

сте. Художник настойчиво добивался, чтобы ему возвратили сокровища юности. И вот, наконец, через столько лет просьбу «уважили».

Пригнувшись к столу, Тарас писал на клочке бумаги:

«Портфель с моими рисунками получил обратно из Третьего отделения его величества канцелярии. Т. Шевченко».

Приложив целковый, Тарас отдал записку! Жандарм спрятал и вышел.

Тарас перебирал давно потерянные рисунки. Вскрикнул, поманил к себе Ваську. Паренёк подошёл почему-то на цыпочках. Художник держал портрет молодого человека со свечой в руке. Тени были удивительно чёткие, поражали мастерски выписанные серые глаза юноши, полные, яркие, выразительно очерченные губы, пышный чуб.

— Как ты думаешь, кто это?

Васька поглядел удивлённо: откуда же ему знать?

— А ведь это я, — сказал Шевченко. Горько усмехнулся, положил руку на плечо пареньку и подошёл с ним к зеркалу. Сравнивал портрет со своим обескровленным, морщинистым и рыхловатым лицом.

И к рисункам в тот день уже не притрагивался; папка так и осталась лежать, растрёпанная, на клеёнчатом диване.

Пускаясь перед баринном на всевозможные хитрости, Васялий Пименов стал довольно частым гостем в мастерской Шевченко. Деревянных коньков Тарас забрал у него всех. Самого луч-

шего поставил на полочке, подле своего офортного станка. Других роздал друзьям и знакомым, выручив для Васьки изрядную сумму. Барину приказал отдать половину, остальные деньги спрятал у себя наверху, в спальне, под большой зелёной банкой с огурцами.

— Насобираем... учиться пойдёшь, — говорил Шевченко.

Он и сам понемногу учил паренька. Водил в фигурный класс, задавал рисовать с четырех сторон какого-нибудь Антиноя. А в свободную минуту приходил и «подбадривал» юношу, как давно когда-то самого Тараса художник Сошенко, фунтом ситного да куском колбасы.

Васька обнаруживал способности к рисованию, но его больше тянуло к материалу осязательному — к глине, к дереву. Но этому искусству Тарас мог научить его лишь поверхностно.

Правда, в ссылке, где ему запретили рисовать, Шевченко иногда доставал глину и кое-что лепил. Да и теперь, как умел, знакомил Василия с лепкой, учил делать каркас...

Вася души не чаял в учителе. Ревновал даже к сердитому солдату Прохору Михайловичу, старался, делал мелкие работы по хозяйству. Но солдат позволял только принести воды да иногда ещё помыть пол. Василий мыл, любовно протирая каждую доску, каждую ступеньку. Попытался взяться за что-нибудь ещё, но солдат ворчал и бранился. А потом и жалел парня. И в конце концов так полюбил его, что, казалось, жить без него не мог.

Васька позировал Тарасу Григорьевичу. Художник заканчивал рисунок: днепровские русалки тянут молодого казака на дно. Русалки вышли хорошо, а с казаком не ладилось. Приходилось смывать и начинать сызнова.

Васька лежал на диване, свесив руку и ногу! Поза была мучительна, но Васька терпел, застав дыхание, и очень сердился, когда приходил солдат и звал завтракать или являлся кто-нибудь посторонний и отрывал Тараса от работы. Но больше всех невзлюбил паренёк почему-то Кулиша.

Не нравился ему пристальный взгляд остроного дядьки. Его фамилия казалась смешной, и юноша сам про себя повторял: «Шалишь, Кулиш!» Удивляли Ваську горячие объятия да поцелуи, которыми щедро оделял Тараса этот человек.

Когда Тарас Григорьевич водил приятелей по залам Академии, Васька пробирался позади всех и застывал перед полной движения статуэткой Орловского, изображавшей мальчика: вот он бежит возле быка и старается остановить его, хватая за рога, за шкуру..:

Однажды Тарас Григорьевич сказал:

— Я решил, Василий, сводить тебя.: познакомиться с бароном Клодтом, с Петром Карловичем.

— С Клодтом? Это чьи кони? На Аничковом?

— С ним. Ты его знаешь?

Васька бросился обнимать Шевченко. Он хорошо знал бронзовых коней на Аничковом мосту.

## 32

Хмурым воскресным утром сердитый солдат Прохор Михайлович и конюх Васька Пименов, отпущенный барином до вечера, мыли пол, перетирали в мастерской ванночки из-под кислоты. Художник делал что-то у мольберта. Фигура его — до колен — чётко выделялась на фоне загрунтованного полотна. Прохор Михайлович что-

то спрашивал у Василия. Тот отвечал невпопад: Солдат присматривался; в сердце просыпались отцовские чувства, он учил Ваську арифметике, наставлял; солдатчина, отняв у Прохора Ефимова всю жизнь, двадцать пять лет, лишила старика семейных радостей.

— Что-то наш Вася затосковал, — обратился Прохор к художнику. — Скучает, а почему — признаваться не хочет.

— Да он уже признался мне, — буркнул Шевченко, не отрывая глаз от работы. — Влюблён, а девка-то крепостная, как и он... — Тарас Григорьевич замолк, орудуя угольком. Затем отошёл шага на три, поглядел на полотно, помолчал. И снова: — Да ты не печалься, хлопче. Скоро, может, хоть какая-нибудь да выйдет воля и твои дела лучше пойдут. Правда, Михайлыч?

Старик не ответил, прислушивался к шагам на входной лестнице. Сердито бросил мокрую тряпку: «К нам!» — и, не вытирая рук, пошёл к двери. Кто-то нетерпеливо постучал.

— Да подождите там!

Из-за ширмы, заслонявшей вход, послышался властный окрик:

— Пропусти!

— Я же и говорю: нам сейчас некогда. Господин Шевченко принимает по вечерам.

Тарас решил было не вмешиваться, но не выдержал, бросил уголь, подошёл к ширме: у двери стоял Кулиш. За ним виднелась физиономия Борлакивского. Оба пытались взять дверь приступом, но Михайлыч держался крепко.

— Прочь с дороги! — крикнул ему Кулиш, оттолкнул его и бросился к Тарасу. — Почему ты себе, брат, не заведёшь настоящего камердинера, вежливого и воспитанного? Держишь грубиянов...



— Это очень тебя занимает? — осведомился Шевченко. — Да Прохор обо мне же заботится! И ещё: я сам, знаешь, терпеть не могу профессиональных мастеров лакейского дела, — и, помолчав, прибавил: — и в жизни и... в литературе, если хочешь.

Прохор, звякая медалями, сгрёб веник, тряпки и направился к двери. Выходя, сердито плюнул на то же место, которое перед тем так старательно мыл. Потом обернулся и с сердцем сказал Борлакивскому:

— Вы хоть и не в хоромах, барин, а ноги вытирать надо. Снег сегодня! — и вышел, хлопнув дверью.

— Чорт! — пробормотал Пантелеймон Александрович, сбрасывая бобровую шубу. — Ну, давай, Тарас, почеломкаемся.

Целовались трижды, «як звичай велить».

«Целовал,—подумал Тарас,—ястреб курочку— до последнего пёрышка. Надо было ему сказать: «Не подходи! Здесь вредные кислоты...»

Подступил и Борлакивский.

— Я, Тарас Григорьевич, по делу к вам, — забасил он, также трижды «почеломкавшись», и покосился в угол на Ваську. — Я слышал, вы жаловались, что никак не можете найти натурщицу для живописания казацкой красы. Для патрета то есть!

— Да, верно, никак не найду.

— А погодите малость, батеньку. Я пошарю по Питеру, не наткнушь ли где на гнёздышко, чтобы добыть орлицу, может быть, бог уважит и хвартуна пособит... — и закусил от натуги ус после такого множества слов.

— Я просил у вас разрешения писать с Марины.

— Э-э-э-э... — неопределённо промычал Грицко Митрофанович и не сказал больше ничего.

— У него, Тарас, есть там одна такая Одарочка, как на солнышке маков цвет с казацкого огорода! Марине далеко до неё... Да и чего ты, собственно, привязался к этой самой Марине? Завёл бы себе какую-нибудь белошвейку, как, бывало, когда-то, или там нанял бы себе горничную, что ли.

Тарас Григорьевич даже не ответил. Даже не поблагодарил за найденную для него натурщицу. Но и не вскипел. Такие разговоры уже надоели ему.

— Закрой, Вася, краски, — пожав плечами и вздыхая, сказал он пареньку. В голосе звучала плохо скрытая досада.

— Можно и не закрывать, я не надолго, — поспешил Кулиш. От его чуткого уха не ускользала ни одна интонация. Он слышал и видел всё, что ему нужно было. — Я пришёл только попрощаться, — продолжал он. — Собираюсь покинуть этот проклятый город. Навсегда.

Голос Пантелеймона звучал торжественно.

— Как это? — спросил Тарас.

— Типографию надумал продавать. Уж и мебель укладываю...

— Да, пан Панько мастак упаковываться, — перебил Борлакивский.

— Мебель укладываю. Теперь надо только погоды и дороги подождать. И такая берёт меня досада!

— Как же так? Проклятый город? Да ведь ты недавно его перед Щербиной так расхваливал?

— Ну и что же? Мало ли что можно сказать! А мне Петербург опротивел смертельно. Я тоскую по нашим широкошумным деревьям, я не могу

глядеть на эти жиденькие берёзки и липы, на печальные петербургские ёлки...

— Да никуда ты не поедешь!

— Вот моё казацкое слово! Еду на хутор. Надо поработать вдали от городского шума. Любовь к родному слову, к народу моему тянет меня — перевести по-нашему Библию. Теперь уж можно! А то недавно, сам знаешь, её и по-русски цензура запрещала, — книга, мол, для церковнослужителей, а не для мирян.

— А вот я, знаете, пробовал читать и как-то не того... — вновь отозвался Борлакивский.

— Не про тебя речь! — с досадой перебил Кулиш. — Таковую работу в городе не сделаешь. Для этого нужно вдохновение. Библия книга поэтическая! А мне вот, при всей привязанности к поэзии, порой приходится отдавать дань и холодной расчётливости. Знаете, у меня на хуторе прекрасно, но... покупая его, всё-таки я должен был предпочесть добрый чернозём с сенокосами — живописным и голодным местам. А теперь радуюсь, что могу есть собственные вареники и пить собственные наливки... А всё прекрасное от нас не убежит: мы его разыщем и за тридевять земель и свой взяток с него возьмём, как пчела с цветка. А зато — какой из меня хозяин вышел! Ну, Тарас?

— Дай бог... — равнодушно ответил тот.

— Вот я и пришёл, чтоб о тебе тоже позаботиться.

— Ну?

— Надо бы и тебе опериться. А для хозяйства необходимо денег подобрать. Картины свои ты продавать не умеешь. А я нашёл тебе честного комиссионера, фактора. Это — во-первых. Во-вторых, надо похлопотать о цензурном разрешении для твоего «Кобзаря».

— Сейчас это — напрасный труд: «Над цензурою, друзья, смейтесь так же, как и я: ведь для мысли и для слова, откровенно говоря, нам не нужно никакого разрешения царя!»

— Тьфу ты, боже мой! Снова Беранжер? Пора уж тебе стать серьёзным человеком, Тарас.

— Я и говорю серьёзно: «Кобзарь» сейчас не разрешат \*. «Монархическим чутьём сохранив в реформы веру, что напишем, то пошлём прямо в Лондон, к Искандеру»... Во!

— Тьфу, тьфу, тьфу!—Ребёнок! Я так и думал: если я не подтолкну, то сам ты — ни за холодную воду. Сейчас будем писать письмо.

— Кому?

— Да Долгорукову же, князю, шефу жандармов \*\*.

— Он мне сегодня старые мои рисунки вернул.

— Значит, к тебе благоволят. Можно писать письмо.

— Не стану.

— Почему?

— Не хочу. И не люблю же, когда ко мне пристают, как... — и, чтоб не обидеть Кулиша окончательно, Тарас замолчал.

— Меня просила об этом сама графиня. Иди бери бумагу, а я очиню перья.

— А вот я думаю, без чарки горилки нам этого дела не вкрутить! — заметил Борлакивский.

Тарас поглядел на него. Грицько Митрофанович был уже чуть-чуть навеселе. Шевченко обернулся к пареньку:

— Не сбегал бы ты, Вася?

— Что это у тебя за холоп? — спросил Борлакивский. — Будто знакомый. Увидал меня да и того... сбежал.

— Вася?

Васьки не было.

Паренёк явился к Тарасу Григорьевичу вечером.

— Не могу так больше...

Тарас ничего не спрашивал:

Наконец Василий решился:

— Девушка... — начал он.

— Вот тебе на!

— Плачет она... и день и ночь. Я сегодня видел её, совсем больна... щёки горят... у барыни рука тяжёлая! Терпит, не жалуется и мне, молчит. Тарас Григорьевич, заступиться надо же! А я?

— Что же нужно сделать? Ну, говори:

— Не знаю, не знаю... Господи! Если б вы поговорили, чтобы, ну... чтобы её-то барин и меня купил, чтобы... вместе. Уж я бы старался, я бы кучером был, я бы ночью стоял у его двери верным сторожем, собакой стал бы...:

— У кого? Кто её барин?

— Да вот же, был у вас тут сегодня... Весь день был. Пьянчужка!

— Борлакивский?!

Тарас, ошеломлённый, замер. Дух затаил. И, наконец, всё-таки решился:

— Как её зовут?

Стало страшно. Вот-вот... Поэта захлестывало издавна знакомое ощущение безразличия и холода; этим он и раньше, в тяжёлые минуты, как бы укрывался от сокрушительных ударов судьбы.

— Марина.

Ну! Свершилось!

— Тебе надо, чтобы я поговорил с ним? — и лёгкий хмель, если он и был после «кумпанства» с Кулишом и Борлакивским, развеялся. — Надо?

Василий молчал.

— Хорошо, — сказал Тарас. — Хорошо! Иди, голубчик, иди домой... А я подумаю. Иди, не журись. Иди... Иди!—и закричал:—Да иди же!

34

Работал, забывая про еду, про отдых, про сон! Когда всё уже валилось из рук, пробовал прилечь. Но не лежалось. Тосковал по Днепру, по родным степям, зелёным и голубым, писал письма, брался за газету.

Читал «Северную пчелу», «Санкт-Петербургские ведомости», останавливался на объявлениях:

«В Малороссию отъезжающий по казённой по дорожной ищет попутчика».

«Почтовые экипажи между Москвой и Курском ходят шесть раз в неделю, с платой за внутреннее место 24 и наружное 17 рублей серебром».

«Карета двухместная на лежачих рессорах, малодержанная, немецкой работы, обитая синим штофом, за излишеством дёшево продаётся».

Вот бы такую карету! Да куда там!

За окном садилось солнце — в это время года редкий гость. Последний яркий луч падал на здание кадетского корпуса, чуть опушённое снегом. Половина Румянцевской площади уже тонула в сумерках, под окном мастерской ложилась густая синяя тень.

Тарас не видел этого.

По набережной прошёл к соседнему корпусу, военный оркестр. Но Тарас не слышал его. Стало тихо. Стучали за стеною часы. Тарас не чувствовал их. Ему всё чудились синие заплаканные глаза. Склонённая головка.

Возникало в неверной дымке воображения ли-

чико ребёнка, покрапленное смешными веснушками, и тоже пропало...

И вдруг всплыло в памяти, будто всё пережилось ещё раз...

Вот, вот! В белом кителе... от своей вербы идёт он прямо через туркменские баштаны, через аул. У кибиток играют с козлятами нагие дети. Вечер тихий и светлый. У горизонта — чёрная и мрачная черта: море! На берегу ясно горят красноватые скалы. По одной из них белым виденьем — стены крепости.

Он возвращается на огород... Находит тропинку. На ней, после мимолётного дождя, в засыхающей грязи видны следы детских ножонок, маленьких, косолапых. Тарас любит следы, идёт по ним. Идёт, следит, пока не исчезают они в степной полыни вместе с тропкой. Где он, следок ребячьих ног, сейчас вот прошедший по его сердцу? Нет его... Нет.

— Нема!

## 35

Десятого ноября Катенька передала поэту приглашение графини прибыть вечером в графскую ложу в Мариинском театре-цирке — на представление приезжего африканского трагика.

— Мне так некогда, серденько, так некогда, что упаси бог.

— Мама очень просила. Мы взяли рядом несколько лож.

— Тогда извольте. Приду, Катенька.

Весь день пролетел в работе. Не хотелось бросать и вечером.

Тарас Григорьевич правил бритву.

Солдат Ефимов готовил манишку, суконный фрак, — только в таком костюме и разрешался

входить в ложи, в партер. Тарас чувствовал себя в хвостатой одежде не совсем ловко, но волей-неволей приходилось являться в надлежащем виде.

Театр Шевченко любил всегда, ещё с беспокойной своей юности. В повести «Художник» вспоминал, как, «бывало, промыслишь эту бедную полтину и несёшь её в раёк, не выбирая спектакля; и за полтину, бывало, так чистосердечно нахохочуся и горько наплачуся, что иному и во всю жизнь свою не придётся так плакать и так смеяться...» Да и теперь, после десяти лет неволи, Тарас готов был ходить в театр хоть ежедневно, но мысль о возможном балагане, вместо Шекспира, не оставляла его.

— И что им всем дался этот негр? — ворчал он. Правда, из газет и салонных разговоров он уже кое-что знал о гастролёре.

«С некоторого времени, — читал Шевченко 6 ноября в газете «Северная пчела», — он устраивает поездки на твёрдую землю, увлекает и удивляет своим искусством и снова потом возвращается в Лондон за лаврами и гинеями, не отказываясь, впрочем, ни от талеров, ни от рублей. Он играет свои роли на английском языке, а зрителям раздаётся печатный немецкий перевод его речей. Идёмте же в театр-цирк редкости ради!»

У многих петербуржцев интерес к гастроллям Олдриджа был возбуждён именно потому, что был это невиданный чёрный трагик. Любители спешили покупать билеты, — как же не посмотреть на чёрного, это же, наверное, так ново и оригинально!

Итти к театру пришлось пешком: в тот день у художника не нашлось мелочи ни на гитару, ни даже на билет в омнибусе.

Тарас пришёл к театру запыхавшись...



Когда капельдинер, окружённый, как тогда водилось, всем своим семейством, кучей ребят, проводил его к ложе, Толстые были уже там. Девочки с Николаем Дмитриевичем чинно уселись впереди, опершись на золочёные перила, обитые, как и весь театр, ярким бирюзовым бархатом. Старов громко читал Пушкина. Из партера оглядывались на их ложу.

— Театр уж полон; ложи блещут; партер и кресла, всё кипит: в райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес...

— Дети! — сказала графиня. — Нельзя же так громко! — и Старов, смутившись, замолчал.

В публике чихали и кашляли; была в тот год нездоровая осень.

Прошёл какой-то генерал в придворном мундире и орденах. Поклонился графине и графу. Катенька поправляла на шее ожерелье, щурила глаза и, как взрослая, кивала головой, будто все раскланивались не с матерью, а с нею. Оленька рассматривала пёстрое население лож обоих ярусов, кресла, стулья, балконы, задирала головку, чтобы взглянуть и на два райка, откуда доносился говор скромных и горячих любителей искусства.

Тарас глядел в залу. Было скучно. Из кресел смешно подмигивал ему Грицько Митрофанович. Маленький Щербина стоял на балконе и, совсем по-наполеоновски, заложив руки за жилет, презрительно поглядывал вниз.

Шевченко присматривался — глаза-то уже славали — и не мог разобрать: в креслах сидел какой-то рыжеватый блондин... Да, это он, Чернышевский! Ну, конечно: широкий лоб под пивелюрой, острый выбритый подбородок, очки в золотой оправе... А кто-то ещё говорил, что Чернышевский никуда не выходит, даже в театр?..

Вот он поднялся, навёл большой бинокль и смотрит сюда. Кому-то приветливо поклонился. Ему, что ли? Тарасу?

Шевченко тоже было поднялся. Но в зале стало быстро темнеть.

Большая средняя люстра, с масляными светильниками, медленно поднималась в люк на потолке<sup>1</sup>.

Уже не видно ничего. Уже и Чернышевский сел на свое место.

Говор смолкал.

### 36

На венецианской улице появились Родриго и Яго. Заговорили они, к сожалению, по-немецки! Слушая, Шевченко вначале припомнил было русский перевод:

Не говори. Мне очень неприятно,  
Что ты, распоряжаясь, как хозяин,  
Моими деньгами, об этом знал...

Тьфу, дьявольщина! И Яго и Родриго читали до того скверно и бесчувственно, что появилась охота смертная уйти.

— Катенька, — шептал Тарас, — я вспомнил смешную историю... — и до начала второй сцены рассказывал маленькой приятельнице какие-то небылицы. Но когда из-за кулис появились слуги с факелами, Яго и сам Отелло, Тарас сразу забыл обо всём.

После приветственных аплодисментов воцарилось напряжённое молчание. Даже первые слова, сказанные мавром — «Tis better, as it is» — «Так лучше...» — заставили всех насторожиться.

<sup>1</sup> Люстры в театрах на время действия не гасились тогда, а лишь поднимались вверх, в люки на потолке.

Публика рассматривала дебютанта. Это был человек среднего роста, довольно плотный, чёрные умные глаза блестели под большим коричневым лбом.

Олдридж был в бархатном костюме, шитом золотом. Костюм, ярко-красный, выгодно оттенял его тёмное мужественное лицо. На круглые щёки падали ясно-жёлтые блики от больших золотых серёг. Актёр был почти без грима — чернокожий играл чернокожего же!

— Tis yet to know, —

Which, when. I know that boasting is an honour.  
I shall promulgate, — I fetch my life and being  
From men of royal siege<sup>1</sup>.

Насторожённость не проходила, ещё непонятно было, хорошо это или плохо... Но с каким достоинством он произносил эти слова! В игре актёра не было, пожалуй, ничего неестественного, никаких нарочитых эффектов.

Да и странно вёл себя на сцене этот негр! Он всплёскивал руками, поднимал их выше головы! Всё это было против театральных правил. Он даже поворачивался в профиль, становился к публике спиной и от этого только делался ещё более похожим на живого человека. Монслоги произносил в глубине сцены, даже шопотом.

Отелло попросил Дездемону итти за ним.. Он говорил только «Come!» Одно только слово «идём» повторил он трижды, с разными интонациями, один только слог «come» — и было в нём уважение и благодарность, сила большой любви, сила страсти — в этом трижды повторённом слове.

---

<sup>1</sup> Когда увижу, что похвальба для чести не помеха, открою я, что царского я рода (англ.).

В каждом движении Отелло были простота и достоинство. Поначалу казался он даже немного неуклюжим, жесты его диковатыми, без всякой грации... Но вскоре эта кажущаяся неловкость исчезла.

В первом акте Отелло говорил тихо и спокойно. Но потом, когда он, требуя доказательств измены, в гневе схватил за горло Яго, Тарас Григорьевич невольно отшатнулся, откинулся назад, задев кого-то сидевшего в ложе за ним.

Становилось радостно и страшно. Тарас уже не замечал, что язык непонятен, что другие актёры плохи. Его волновал каждый взгляд, каждое слово. Тарас никогда за всю свою горькую жизнь не переживал ни перед чем такого страха. Он знал, что Дездемона должна умереть от руки Отелло, любившего ее больше жизни, больше всего на свете, знал, но всё-таки, всё-таки...

Боялся, боялся и за судьбу самого Отелло, сжимал кулаки, встречая выход Яго... Вот, подкравшись к Дездемоне, Отелло всматривается в её мраморное лицо, слабо озарённое светильником. Золотые отблески дрожали на его щеке. Печаль и гнев, любовь и подозрительность трепетали на лице, в глазах, в пальцах.

Неуловимы звуки чужоро языка! Но слова были тут не нужны. Отелло сидел на стуле подле Дездемоны и выпытывал, выпытывал, выпытывал правду — дрожащим от гнева, приглушённым голосом, — честный и доверчивый мавр стал лютым зверем.

Когда пальцы Отелло уже впились в горло Дездемоны, в дверь постучали. Ещё раз. Сильнее и сильнее! Страшное молчание взволновало людей. Зала замерла, ни звука, никто не кашляет. А в дверь стучат, стучат, стучат...

Эмилия кричала за дверью:

— Мой господин! Эй, эй, мой господин!

— Что? Шум? Мертва? Нет, не совсем мертва.

Жесток, но милосерден всё же я —

Я не хочу, чтоб больше ты страдала...

Так, так!

Отелло прислушивался к стуку в дверь, прислушивался, будто удивлённый, что кто-то посмел вмешиваться в его отношения с Дездемоной... Эмилия?

Мавр уже опустил занавеску над мёртвой подругой своей, над любовью...

### 37

Напряжение в зале росло. Во время третьего акта в партере стало кому-то дурно. Люди забывали даже о жертве мавра, Дездемоне, — такое сочувствие возбуждал он к себе.

Под конец последнего действия люди уже кричали, вскакивали с мест. Только что упал со стуком занавес и ещё не спускали люстру, Тарас поднялся и, не простившись ни с графиней, ни с Фёдором Петровичем, выскочил в фойе.

Пробежав наружную галерею, мимо кассы и буфета, возле которого во время спектакля угощались несколько заезжих помещиков, Тарас выхватил из рук служителя свой кожаный мешок и, будто убегая от аплодисментов, загремевших в зале после страшной тишины, выбежал на улицу.

За ним из буфета побежал, крича что-то, пьяненький уже Борлакивский.

На улице в первое мгновение Тарас Григорьевич закашлялся, но с некоторым усилием поборол кашель и мимо карет и экипажей — половина их была уж на полозьях — помчался вдоль канала, к берегу потемневшей Невы.

Тарасу и теперь, в тишине сонных улиц, всё будто слышался певучий голос негра, крик отчаяния: «Дездемона! Дездемона!» — когда мавр узнал страшную правду. Он рвал на себе одежду, ревел и... вдруг замолк.

И тихо стало в театре. Последние слова прозвучали у Олдриджа еле слышно, а когда он взмахом кинжала рассек себе горло, вопли потрясли зал. Но Отелло ещё жил, хрипел и словно всем существом своим ещё стремился к невинно задушенной Дездемоне..

...Шевченко, вне себя от потрясения, не замечал сильного ветра. Падал снег, надвигалась буря. Где-то над Финским заливом вывешивались, наверное, штормовые сигналы.

Рассвет застал Тараса ещё по дороге домой. Поэт иногда останавливался возле ворот и, закрывая лапами кожуха зажжённую спичку, пытался прочесть куски потрёпанной бурей афиши сегодняшнего спектакля.

Афиша начиналась так: «Первое представление на немецкой сцене известного африканского трагического королевского Ковентгарденского театра в Лондоне артиста и кавалера господина Айра Олдридж...»

Спичка гасла. Обрывки афиш рвались из рук, чтобы умчаться с ветром к морю.

После спектакля Толстые, не найдя Тараса в Академии, заторопились к Знаменской гостинице, где остановился Айра Олдридж, — приветствовать гениального актёра.

В комнате было уже немало народу. Всех привёл сюда старый знакомый трагика, пианист

Антоний Коитский, частый гость в салоне Толстых.

Все шумели, каждый говорил, как умел. Слова русские, немецкие, французские звучали в странном смешении. Актёр по-русски не знал ни слова.

Айра, увидав детей, обернулся к новым гостям. Белоснежный жилет подчёркивал золотистую темноту его лица. Негр обратился к графине, к графу, протянул руку Оленьке, и лицо его озарилось улыбкой. Ещё вчера артист жалел, что всё-таки приехал в эту страну. Его гастроям предшествовали затянувшиеся переговоры с дирекцией императорских театров; негра заставили играть с пошлой немецкой труппой, ограничились сначала шестью спектаклями, загнали в театр с плохой акустикой и обязались платить всего-навсего по сто пятьдесят рублей за представление... Знаменитый артист боялся встречи с русской публикой, не знал, как его примут в незнакомой ещё и, по всем слухам, будто бы дикой стране...

Катенька неожиданно очутилась в центре внимания. Негр случайно заговорил с нею. Девочка ответила по-английски, сконфузилась и покраснела.

— Катя! Не жеманься, — строго одёрнула дочку графиня, и это помогло девочке овладеть собой.

Катенька вошла во вкус и еле успевала переводить по-русски и по-английски всё, что хотели высказать гости и растроганный хозяин.

Наперебой обнимали актёра, суетились возле него, заглядывали в лицо.

Старов, чудак, никогда не знавший меры в проявлении своих чувств, уже хватал за руки Олдриджа, чтоб поцеловать ему «благородные

чёрные пальцы», и никому это не казалось смешным.

— Мы вас из Питера, — кричал Николай Дмитриевич, — мы вас из Питера скоро не выпустим!

— Переведите ему, — просил молодую графиню Олдридж, — переведите, что меня пригласили в русскую столицу на очень короткое время.

— Мы будем просить министра двора, чтобы приглашение продлили. — И Старов обратился к пианисту Контскому: — Антоний Григорьевич! Вы поддержите меня? И вы, господа?

Все снова бросились к негру, жали ему руки, отгесняя суетливого словесника.

— Министр двора, граф Адлерберг, — кричал он, — удовлетворит вашу просьбу!.. Это благородный человек!

Актёр, на радостях, угощал гостей душистым вином, привезённым из Франции, упрашивал графиню позволить Катеньке хотя бы один глоток чудесного напитка.

Катя впервые в жизни пила вино. Она и без того опьянела было от шума, смеха и общего к себе внимания.

Прощаясь, негр просил Катеньку перевести его просьбу ко всем, почтившим его неожиданным визитом. Катенька не могла сразу понять витиеватую фразу. В глазах у неё огоньки люстр умножались до бесконечности.

— Не совсем понимаю... — мотала головой Катенька.

Олдридж повторил ещё раз:

— Не разлюбите меня за тёмную наружность, подобную померкнувшей тени благословенного солнца...

Гости переглянулись.

Что это? Шутка? Ирония?



Кто знает! Зрители видели сегодня великого артиста, и никто ещё не знал, что за человек стоит здесь, посреди комнаты, под хрустальной люстрой.

### 39

Поэт протянул к полке руку — за томом Шекспира, заметил следы пыли и достал из-под мольберта влажную тряпочку.

Перетирая книги, сердито ворчал:

— Уж этот мне Прохор... До чего не люблю нерях... — хотя перетирать книги было для Тараса одним из первых удовольствий. Вот страницы доверчиво раскрываются, шуршат под пальцами, пахнет книга кожей, краской и клеем. Этот запах поэт вспоминал и в далёкой пустыне\*.

Тряпочка осторожно проходила по корешкам: «Мёртвые души», «Губернские очерки», комедии Островского. Вот летописи — Самийла Величко, Самовидца, Грабянки, несколько изданий «Слова о полку Игореве», сборники народных песен и ещё множество книг и журналов. И библия, единственная тарасова книга-спутница в поездке по Аральскому морю.

Шевченко вышел на лестницу — вытряхнуть пыльную тряпку — и снова взялся за Шекспира. Все три дня, после спектакля, тянуло к знакомому тексту. Встав у окна, поэт раскрыл книгу наугад.

За этот выступ встань; придёт он скоро,  
Ты шпагу обнажи и метко бей.  
Скорей, скорей! Не бойся; я тут близко,  
Здесь — возвышеньё иль погибель; помни,  
Сильней свою решимость утверди!

.....

Растёр я прыщик до горёнья,  
И он распух. Убьёт он Кассио

Иль Кассио его, или друг друга —  
Всё мне на пользу...

Перевернув страницу, Тарас Григорьевич замолк. В книге лежала какая-то бумага, видимо, давно позабытая там, слегка уже пожелтевшая, — письмо, писанное знакомою рукою и адресованное Борлакивскому, у которого Тарас недавно купил этот небольшой томик.

Шевченко хотел было запечатать не читая, но, вкладывая бумажку в конверт, заметил своё имя, чётко выведенное тонким почерком Кулиша.

После минутного колебания Тарас всё же развернул бумажку: «Шевченко ещё нету здесь, да и не знаем, куда он вернётся из неволи, — кабы только не на Украину...»

Тарас прочёл ещё раз, словно не доверяя себе, затем бережно сложил письмецо и спрятал в карман. Только рукой махнул: «Станный человек! Я ведь и такое читал у него: «Если бы Шевченко возвратился, вот тогда бы у нас на Украине взошло бы среди ночи солнце...» Ну, да черт с ним!»

И Тарас Григорьевич снова раскрыл Шекспира:

Спартанский пёс!  
Ты злее голода, чумы и мора!  
Смотри!

#### 40

...В дверь постучали:

Тарас думал, что это Васька. Паренёк давненько не приходил.

— Там не заперто! — крикнул.

Вошёл Николай Дмитриевич.

— Наконец-то я вас, Тарасенька, застал. Где пропадали?

— В библиотеке, в натуральных классах. А что?

— Сегодня надо в театр. Анастасия Ивановна просила...

— Снова Олдридж?

— А то кто же? Я ведь там у него в театре, знаете, и днюю и ночую. Вчера так не терпелось — скорей на спектакль: пришёл раньше. Чудно! Сколько живу на свете, впервые попал в театр, когда в зале ещё никого не было... И страшно, знаете! Да вы не смейтесь... И как вы думаете, кто приходит в театр раньше всех? Раёк. Оттуда долетает первый шум: люди спешат захватить лучшие места! А в зале темно-темно, люстры ещё не спущены... Только за занавесом кто-то кричит плотнику: «Сегодня в третьем акте — гром и ветер»... Слышны таинственные стуки, и в оркестре блуждают феерические огоньки. Тёмные тени. И точно ветер проходит по зале, колеблет бархатные портьеры в ложах... А я сижу и жду, когда наступит назначенное время, зашуршит занавес и выйдет на сцену божественный арап! А то, знаете, Тарас Григорьевич, пришёл я сегодня днём на репетицию... Странно! Олдриджа и не узнать! Бормочет что-то себе под нос, чтоб не тратить сил, а всем артистам приказывает читать во весь голос. Сердитый такой. Вышел на сцену, все кланяются ему, даже суфлёр поднялся в будке, чуть было свечей не погасил. Мечется по сцене, в мягоньких замшевых башмаках, вызывает одного за другим действующих лиц, чтобы хоть посмотреть на них перед репетицией: «Гонерилья! Корделия! Граф Глостер! Эдмунд!» Выходит эдакий граф Глостер, пьян-пьянёшенек, на ногах еле держится, смотрит на чёрное лицо, и становится ему страшно-страшно, зубы у негра блестят, глаза горят, — сердит... «Ну, — говорит Олдридж, — надеюсь завтра видеть вас на репети-

ции вполне здоровым...» — и вдруг улыбается: А граф Глостер кивает головой, а на глазах слёзы у старого дурака!

Старов вытащил платок.

— А посмотрели бы вы, Тарасенька, как он мучит их: каждую сцену заставляет повторять по десять раз. Кричит на всех! Но зато, если заметит удачный жест, услышит искренне сказанное слово, благодарит, благодарит, выучил даже по-русски: «Очень корошо! Очень спòсибо!» — а через минуту снова кому-нибудь выговаривает. Да иначе и нельзя! Он играет роль сотни раз, выкачет вести эту сцену стоя, ну на второй, скажем, половине от рампы, на другую он уже не перейдёт! Странно, правда? На репетиции он часто обращался к суфлёру... Посмотрели бы вы, Тарасенька, как тот старичишка прижимался к своей будке! Суфлёр наблюдал уже на трёх-четырёх спектаклях, как неистовый душил перепуганную фрау Поллерт, несчастную Дездемону! Старик всю жизнь видел на сцене бледные страстишки, такие же правдивые, как и полотняные деревья, и тряпичные облака или солнце, сделанное из масляной лампы... Он за всю свою жизнь словно и не видел другого света! Этот, понимаете, размалёванный купол неба, быть может, суфлёру дороже всех просторов и глубин всех возможных небес. Там не бывает и настоящего ветра! Того самого, которого и я, Тарасенька, боялся в течение всей моей жизни. Вы — первый обветренный человек, которого я встретил на пути.

Старов, утомлённый своим же рассказом, утирал глаза.

— Ба, Тарасенька, ведь я забыл сказать самое главное... Ищу вас три дня и три ночи и не могу.

найти. Вы же не знаете, где мы были после первого представления Айры? — и Старов рассказал о визите к артисту.

Тарас даже крикнул от досады: пропустить такой случай! Эх!

— Чего же вы взгрустнули, Тарас? Вы-то, я думаю, не очень и увлечены талантами божественного арапа. Я вот никак не приду в себя, а вы...

— Каждый волнуется и переживает, Николай Дмитриевич, по-своему. Вы вот места себе не найдёте, а меня высокие и святые переживания, божественное наслаждение тянут к работе. Хочется самому сделать что-нибудь такое же.

Тарас говорил, говорил, только не признавался, что не пошёл на второе и третье представления «Отелло» из-за безденежья. Билет пришлось бы покупать у перекупщиков, заплатив раз в двадцать дороже: на спектакли с участием Олдриджа повалил весь Питер.

— Значит, вы, Тарасенька, жалеете, что не были с нами? А я искал вас, искал, чтоб поставить и вашу подпись под просьбой о продлении гастролей Олдриджа.

— Известное дело, жалею.

— Ну, так мы сейчас вот и пойдём к нему.

— Не пойду.

— Почему?

Тарас попробовал было объяснить, но словесник не понял.

Шевченко не раз переживал неприятное чувство, когда, после возвращения в Петербург, у Толстых, у Борлакивских, у Полонского, всюду появлялись любопытные барыньки — поглазеть на него самого, словно на диво какое. Тарасу почему-то пришли ещё в голову эскимосы, их

показывали за деньги на берегу Невы, — и он боялся: Айра Олдридж может подумать, что два старых бездельника пришли к нему так просто — посмотреть вблизи на чёрное лицо!

## 41

Музыканты — А. Контский, А. Серов, П. Лобри и много других, художники и просто любители театра, — был между ними и инициатор этого дела Старов, — подали министру императорского двора графу Адлербергу общую просьбу:

«Мы, нижеподписавшиеся, никогда не дерзнули бы беспокоить ваше сиятельство, если бы не были вполне уверены в искренней, возвышенной любви, которою осенены все отрасли изящных искусств, монаршею волею вверенные просвещённому вашему попечению, если бы мы не были уверены в милостивой готовности вашей выслушать каждого и во всяком деле. Так и ныне осмеливаемся прибегнуть к вашему сиятельству с убедительнейшей просьбой, не благоугодно ли будет исходатайствовать высочайшее соизволение ангажировать ещё на возможно большее число представлений африканского трагика Айру Олдриджа, который, как вам известно, не был приглашён дирекцией Императорских театров на дальнейшее продолжение дебютов своих, несмотря на то, что мог бы ещё некоторое время провести в СПб и, доставляя здешней публике отраду для ума и сердца, содействовать общей благой цели просвещения...»

Все, кто подписывал прошение, ждали, затем справлялись в дворцовой канцелярии. Но ответа всё не было.

По свежему снегу, вечером, возвращался Тарас Григорьевич из Публичной библиотеки.

У Казанского собора услышал знакомые голоса, остановился: возле ажурного узора высокой решётки, под фонарём стояли и спорили о чём-то братья Курочкины, Кулиш, Гулак-Артемовский и ещё какие-то молодые люди.

Тарас подошёл ближе, и в пылу спора его никто не заметил.

— Вы, господин Кулиш, — говорил Василий Курочкин, поэт, младший брат корабельного лекаря Николая Степановича, — вы, господин Кулиш, чёрствый человек.

— Может быть, может быть... Но всё-таки переводчику надо переводить, а не сочинять... Ну, скажем, сейчас мы смотрели в театре Шекспира, и, представьте, что осталось бы от пьесы, если бы её кто-нибудь перевёл так вот, как вы переводите своего Беранже? Я боюсь: ваш обязательный братец, Николай Степанович, переводит величайшего Шевченко. Не получатся ли из неподражаемых малороссийских стихов какие-нибудь бледные перепевы? Признаться, ваши переводы из Беранже...

— Дай бог всякому поэту таких переводчиков, как в России у несравненного Беранже! — сказал Тарас, выходя в освещённый круг под фонарём. Собеседники от неожиданности расступились, будто уступая поэту дорогу. — Вы только послушайте, — продолжал Тарас, — только послушайте, как звучит перевод:

Оловянных солдатиков строим  
По шнурочку равняемся мы;  
Чуть из ряда выходят умы:  
«Смерть безумцам!» — мы яростно воем;

Подымаем бессмысленный рёв...  
Мы преследуем их...

— Да тише, ты! — зашипел Кулиш. — На улице читать такое! С ума сошёл. Мало тебе хлопот?

Прятели улынулись. Василий Курочкин взъерошил чёрную бороду и хотел был читать свой перевод дальше. Но Кулиш стал прощаться:

— Мне, господа, пора...

— Ну, что ж...

— Я, Тарас, должен у тебя кое-что спросить.

— Слушаю.

— Конфиденциально.

— Простите, друзья! Кулишу что-то от меня нужно.

Тарас и Пантелеймон отошли от фонаря к тротуарной тумбе.

— Ты не надумал ли... — начал Кулиш. — Не надумал ли убрать свою подпись под протестом против журнала «Иллюстрация»?

— Нет.

— А если я очень попрошу?

— Да хоть бы и отец родной встал из гроба, я бы и его в этом деле не послушал!

— Последнее слово?

— Нет, — усмехнулся Тарас. — Я ещё хочу спросить тебя, когда ты, наконец, уберёшься из Питера? Ты уезжал будто? Упаковывал мебель? Продавал типографию?

— Передумал! Передумал... Я, кажется, Тарас, не смогу никогда, никогда не смогу покинуть этот изумительный город.

— Я так и знал. Значит: «О дивный град! О чудо света! Тебя волшебник созидал!» Смотрю я на тебя, Кулиш, человек, будто, как человек, — умён, талантлив, расчётлив, сметлив, а что у тебя в сердце, что у тебя в голове, никак не пойму... Из одного рта у тебя — и тепло и хо-



лодно! А ты умён, Панько, умён, дай бог всякому! А сердце...

— Я своего сердца сам не знаю.

— Не знаешь? Ну, прощай, Панько.

-- Прощай! — крикнул Кулиш, отступая в темноту.

— Станный человек, — пожал плечами Николай Курочкин. — Я когда-то лечил одного такого, — капитан у нас был, — лечил ему печень, а потом оказалось, что его недуг известен под именем мизантропии... Ха-ха! А человек этот, Кулиш, — деловой. Мы поручаем его типографии свою «Искру».

— Справится, — сказал Тарас. — Он честный человек в деловом отношении... — И предложил: — Идёмте, братья, ко мне. Почитаем что-нибудь...

— Идём, идём, — отозвался Артемовский. — Что-то холодновато, снег. А у меня, знаете, горло...

— Да, горло драгоценное, — сказал Николай Курочкин. — Надо будет его сейчас чем-нибудь промочить!

И все двинулись по Невскому, через Дворцовый мост, на Васильевский остров, в гости к Тарасу, весело и шумно.

А Кулиш уходил от них. Натыкаясь на встречаемых, шёл вперёд и вперёд, сам не зная куда... Строчка за строчкой, рифма за рифмой приходили к нему: «Ой, хожу я по городу, великому, великому. Розказав би свое горе, та нікому, та нікому...»

Уходя от Шевченко, Николай Курочкин украдкой сунул ему в руку знакомую по виду белую тоненькую тетрадку герценовского «Колокола».

— Шкипер один привёз, — шепнул Николай, — оттуда... Приятель один.

Как только гости вышли на лестницу, Тарас Григорьевич зажжёт ещё одну свечу, поднялся на антресоли и, укутав шерстяной плахтой ноги, чтобы не дуло из окна, опускавшегося до самого пола, начал читать. Это был совсем свежий номер «Колокола», начало листа 25, датированный 1 октября того же 1858 года. «Vivos voco!» — «Живых созываю!»

В самом начале было письмо к редактору, письмо из России:

«У нас всё идёт так дурно, что не знаешь, с чего начать. Все надежды на преобразование лопнули, как мыльные пузыри. Напрасно сохранять ещё веру в Александра...»

— Сподівана воля, — ворчал Тарас.

«...Вот вам другой случай. Крестьяне г-жи Энгельгардт С.-Петербургской губ., Лугского уезда, в з б у н т о в а л и с ь.»

— Энгельгардт? — Тарас задумался. Не его ли бывшего пана крепостные?

«... Взбунтовались так, что предводитель дворянства Пантелеев перепорол всех их, от мала до велика; исправник поклялся им, что, невзирая на царя и бога, сотрёт их с лица земли... а они всё-таки бунтуют! Дело в том, что г-жа Энгельгардт хочет переселить их (по случаю предстоящего выкупа усадеб) на болото, а они — бунтовщики этакие! — не хотят!..»

«Вот вам третий случай. Судогодский уездный предводитель дворянства Задаево-Кошанский, по той же причине, как и г-жа Энгельгардт, задумал перенести крестьянские дворы на новые места... Крестьяне просили отсрочить переселение до конца уборки хлеба, чтобы успеть снять жатву с засеянных ими полей. Кошанский не согла-

сился на это, а так как крестьяне продолжали просить, прибег к помощи земской полиции... 70 человек пошли искать защиты у губернатора. Тиличѣв оказал им защиту самую полную: перепорол их... выдал помещику главных зачинщиков и послал туда войско. Крестьяне были усмирены, но зато взбунтовался помещик: 5 человек из бунтовщиков отданы им в солдаты, а 9 семейств в числе 26 душ... сосланы в Сибирь!.. Землю, оставшуюся после сосланных, он отобрал себе, дома их сломал, места, бывшие под усадьбами, запахал так, чтобы и следа не осталось: Вот они, благородные-то дворяне!»

Шевченко перевёл дух и потянулся к кружке с водой, чтобы успокоить расхолодившееся сердце, — вот она, Россия, всё так же стонет!.. Да, стонет! — и Тарас вдруг рассердился сам на себя. Люди мучаются, гибнут, а он: «Стонет!»

Перевернул страничку. И снова:

«...Правительство ничего не делает для обуздания свирепых и алчных помещиков...»

«...Александр II никак не признаёт... прав крестьян на землю...»

«...Бедные крестьяне, надеясь на его отеческую к ним любовь, ждут, что манифест о полном их освобождении некогда последует (слова из просьбы крестьян г-жи Энгельгардт). Ждите, бедные труженики! Не дожидаться вам этого дня: царь, тот самый царь, который в марте 1856 года говорил дворянам в Москве: лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнёт отменяться снизу, — тот же царь теперь надежду нашу на свободу называет нелепым голком и объявляет, что она вряд ли когда может осуществиться... На себя только надейтесь, на крепость рук своих, заострите то»

поры, да за дело — отменяйте крепостное право, по словам царя, снизу! За дело, ребята, будет ждать да мыкать горе; давно уже ждёте, а чего дождались?..»

Шевченко читал вслух и по несколько раз повторял одно и то же:

— Заострите топоры! Да за дело!.. За дело, ребята...

Накинув кожух, Шевченко сбегал вниз. Надо было с кем-нибудь поговорить, показать «Колокол», прочесть. Это же были его собственные мысли! Его призывы! Его слова!.. Но куда пойдёшь? К кому? Вспомнился лишь Чернышевский, с которым познакомился мельком, в редакции, и случайно встречался в театре, на улице... Шевченко накануне прочёл в «Современнике» его статью.

Чернышевский? Но где он живёт? Да и как пойдёшь к почти незнакомому человеку в такой поздний час? У него дома, поди, семья? Жена? А то и серденьята?

Куда же? Куда пойти? И Тарас бежал по безлюдным улицам острова быстро, быстрее, быстрее.

Снова к морю. К омертвевшему заливу.

#### 44

Семнадцатого ноября подул морской ветерок. Стало тепло. С крыш потекли ручейки.

Зимней дороги как не бывало! Дворники сгребали в кучу мокрый снег.

Набирая в калоши воды, Старов, Шевченко и Гулак-Артемовский по лужам пробирались к театру, через площадь — со стороны Поцелуева моста.

Этой дорогой проходили все трое, пожалуй, каждый вечер. Несколько дней Тарас за работу не принимался и всю вину за безделье сваливал на учителя словесности. Семён сказался в своей опере больным и тоже ходил смотреть Олдриджа.

Приятели вели себя в театре довольно бурно. Из ложи, где они сидели, слышны были восторженные восклицания, возня, шум и гам. Публика шикала. Друзья и знакомые дивились перемене, случившейся со степенным Тарасом.

Он обещал сдерживаться, но на следующем спектакле повторялось то же самое. Правда, если бы Семён и Тарас не столь увлекались, они и сами заметили бы, что шумят, собственно, не они, а за всех трёх сразу — чудака Старов.

Даже в партере, когда, наконец, учителя всё-таки попросили прочь из ложи, этот неуёмный человек вскакивал с места, в забытьи хлопал по плечу сидевшего перед ним чиновника. Даже в антрактах, когда зрители выходили в фойе, он оставался на месте. Горячее масло со спущенной люстры брызгало на фрак, — поэтому-то из партера все уходили, — но Старов не замечал ничего...

В одном из антрактов, оставив приятелей, Тарас Григорьевич вышел на свежий воздух.

Над городом спускался туман, густой, всепроникающий. Высокий купол Мариинского театра-цирка терялся в нём. Большого императорского, в котором пел Семён, — по ту сторону площади, — не видно было вовсе.

Вдоль стен Мариинского, как и всегда, стояли вереницей гитары и рыдваны, барские кареты и коляски — на полозьях, на колёсах.

Кучеров подле них не было. Лошади фыркали, били копытами, рассыпая брызги, но двинуться никуда не могли, стояли тесно.

Сквозь космы тумана по углам площади видны были языки огня. Кучера, ожидая конца спектакля, грелись у костров под специально устроенными круглыми навесами с отверстиями в фигурных кровлях. Эти кучерские беседки не были похожи ни на какие другие сооружения, и без них нельзя себе даже представить старого Петербурга...

Подойдя к одному из навесов, подпёртых тонкими железными столбами, Тарас Григорьевич залюбовался мягким рисунком, завуалированным туманом и дымом костра. Всё было как на хорошей гравюре акватинта.

В полосу дрожащего света, к теплу костра, выплыла лошадиная голова. Круглая тонкая дуга стояла над ней нелепым нимбом. В беседке было удивительно тихо. Люди тянулись к огню озябшими руками. Те, что были ближе к пламени, становились на колени. Здесь же грелись собаки.

Обычного галдежа не было. Шевченко услышал знакомый басовитый юношеский голос.

Это был Васька. Он сидел на корточках у самого огня и рассказывал третий акт «Короля Лира».

Васька, очевидно, тоже только что спустился из райка — рассказать знакомым, что пришлось увидеть на сцене. Пересказ получался довольно своеобразный: Васька не знал ни шекспировского текста, ни, разумеется, английского и немецкого языков, на которых шёл спектакль.

По Петербургу, даже среди простолюдинов, болтали о приезде негре всякие чудеса, и слушателей собиралось в антрактах у костра немало. Покамест повар Спиридон стерёг в райке удобное место возле барьера, Васька рассказывал об изгнанном из дому короле, о неблагодарных дочках,

о безлюдной степи, где в грозу блуждал безумный Лир.

Тарас, прислонившись к железному столбу, слушал, не пропуская ни слова. Рассказав о короле, Васька продолжал с важным видом о негре:

— ...И вот, братцы, родился у того негр-тянского попа сын Айра... И суждена ему была расчудесная жизнь!

## 45

Рассказывали, что дед Айры Олдриджа был вожаком негр-тянского племени фульбе, фул<sup>д</sup>лахов, — на западном побережье Африки, на левом берегу Сенегала.

Сын этого вожака, Дэниэл, поехал с одним американским миссионером в Америку — получить образование, необходимое сыну царька. По возвращении из Нового Света молодой Дэниэл Олдридж выступил против продажи в рабство чернокожих невольников. Окончилось это тем, что работоторговцы убили царя-отца, а самому Дэниэлу случайно удалось бежать. Так он снова очутился в Северо-Американских Соединённых Штатах и стал негр-тянским пастором. Вот тогда-то и родился, вблизи Балтимора, сын его Айра.

Десять лет прошло в опасных скитаниях — снова в родных краях, в Сенегамбии. Жизнь Дэниэла и его сына напоминала рассказ Отелло:

Я говорил о гибельных делах,  
Опасностях на суше и на море,  
Как в смертную пробоину кидался,  
Как был пленён я наглыми врагами  
И продан в рабство, как освобождён.  
Потом о путешествиях моих,  
Больших пещерах и степях бесплодных,  
О диких скалах, горах до небес...

Много было приключений и опасностей, и родители Айры скоро снова возвратились в Америку.

Сын пастора начал учиться в нью-йоркской духовной школе. Побывав случайно в театре «Парк», единственном театре, в который впускали негров, Айра захотел вдруг стать актёром и надумал устроить собственный негритянский театр в каком-то заброшенном сарае. Небольшой кружок любителей Шекспира начал готовить пьесы.

Вскоре Олдридж оставил духовную школу и нанялся к актёру Воллаку в лакси, чтобы иметь доступ за кулисы.

Несколько лет пробыл беспокойный юноша в звании лакея, пока, по совету друзей, не покинул Америку.

В Англии, по счастливой и редкой случайности, один вельможа обратил на него внимание и помог поступить в университет в городе Глазго. Он был лучшим учеником профессора Сандфорда и закончил университет с наградами и золотой медалью...

Началась жизнь в театре, упорная и трудная работа... Дебютировал он в лондонском королевском театре — «Роялити», в роли Отелло, оставшейся для него коронной на всю жизнь.

Однажды Айру пригласили в антракте в ложу графа Беркс, члена парламента. С негром захотела познакомиться дочь лорда, увлечённая игрой артиста.

Вскоре дочь лорда стала новой Дездемоной, принеся в жертву своему Отелло и титул, и богатство, и мнение света, и любовь отца. Через шесть недель она была уже супругой Айры. Он обошёлся с лордом, как Отелло с сенатором Бранцио.



Дальнейшие семь лет Олдридж пробыл в провинции. Играл в маленьких театрах, прочёл множество книг. Директоры больших театров ещё не решались его ангажировать.

В 1851 году Олдридж приехал в Дублин. Ирландцы носили его на руках, и слава Айры пошла по Европе: давно уже мир не знал таких артистов.

Олдридж читал в европейских столицах лекции о Шекспире, Шиллере, Гёте. Учёные общества и учреждения присуждали ему звания академика и почётного члена; вельможи и монархи жаловали его орденами, титулами, а благодарные зрители устилали путь его цветами, проливая слёзы радости. Он покорял и очаровывал своим искусством лучших людей по всему свету. Покорил и Тараса Шевченко.

## 46

Надо было навестить Марину:

Хотелось поговорить с ней, как и прежде. Но.. говорить придётся о Ваське, чтобы убедиться во всём самому, убедиться до начала переговоров с Ганной Гавриловной.

Ехать к Борлакивским не хотелось. Но всё-таки собрался.

На одном из перекрёстков, когда Тарас вышел из темноты Васильевского в «солнечный свет газа», его обогнала публичная карета — омнибус.

Тарас крикнул: «Эй!» — и карета остановилась.

Это был старинный рыдван, грязный, большой, запряжённый двумя клячами. Омнибусы должны

были ходить по расписанию, но редко двигались с места раньше, чем рыдван битком набивался людьми. На остановках оборванные кондукторы зазывали новых пассажиров...

Тарас едва успел войти, карета тронулась с места, грохоча по торцам железными шинами. Вслед за Тарасом на ходу вскочил какой-то приказчик и закричал кондуктору:

— Эй! Слышь, ты... голова с мозгом! Деньги на! Подал свой гривенник и Тарас.

Масляная плошка бросала тусклый свет на стенки омнибуса, на лица пассажиров.

На узенькой скамейке, наискосок, покачивался какой-то негоциант в пёстром пальто-пальмерстоне и переговаривался с бородатым апраксинским купчиком: что-то такое о казённой поставке живого скота. Двое мастеровых дремали в уголке. Ехали, очевидно, по очень спешному делу, — плата за проезд была для рабочего человека непомерно высокой.

Тарас хотел было заговорить с ними. Но вдруг кто-то окликнул его:

— Тарас Григорьевич?

Шевченко обернулся. Сбоку, совсем рядом, присматривался к нему с пристальностью близорукого человека очень бледный, как и все рыжеватые люди, — высоколобый, молодой господин, лет тридцати.

Щуря голубые глаза, он переспросил:

— Вы ли это? И не смотрите?

— Николай Гаврилович? — и Шевченко привстал, узнав Чернышевского, руководителя критического и политического отделов в журнале «Современник». — Вы не то похудели, не то очень устали...

Тарас взял Чернышевского за руку. Казалось ему, что с этим рассеянным и застенчивым чело-

веком он мог бы засесть где-нибудь в укромном уголке и долго, хорошо молчать, думая о своём— быть может, об одном и том же.

— Да-с! А я человек подслеповатый, но вас, Тарас Григорьевич, сразу заметил. Ваша фигура для Питера не совсем обычна.

Завязывался разговор. Шевченко расспрашивал о новостях в редакции «Современника». Чернышевский рассказывал про серию своих статей и обзоров, идущих под заголовком: «Устройство быта помещичьих крестьян». И вдруг вспомнил:

— Ба, Тарас Григорьевич! Я позавчера получил письмо из Москвы. Не знаю, с вашего ли ведома, но Кулиш прислал в «Русский вестник» отдельное заявление деятелей вашей милой Украины и просил присоединить к протесту против грязных человеконенавистников. Но я не знаю: стоило ли... это делать? Письмо мне не нравится.

— Не читал. Моя подпись будет в следующем номере.

— Ну да, будет... Но только Кулиш просил вашу же подпись поставить и под этим открытым письмом.

— Я не поручал ему! Как же это?

— Да там есть подписи вашей обаятельной писательницы Марко Вовчок, Костомарова, Номиса \*...

— Но ведь Марко Вовчок и Костомарова нет в Петербурге!

— Не знаю.

— Я сейчас же пошлю депешу в редакцию... Успею? Номер-то журнала выйдет недели через две?

— Нет. Этот номер, Тарас Григорьевич... этот номер «Русского вестника» сегодня уже пошёл в машину, в печать!

Кулиш сидел на диваче, рядом с Ганной Гавриловной, поглаживал её руку.

Ганна выглядела сегодня особенно привлекательной, в новом платье из белого муслин-вапера. Юбка была сделана в три гофрированных гуники, а на каждой из них красовалось по большому банту. Кулиш не сводил с Ганны восторженных глаз, не забывая, впрочем, и некоторой осторожности.

— И никогда бы я не жил в этом Питере, кабы не обязанность наша — не отставать от высшего света и его требований. И ещё... если бы не вы, Ганна...

Борлакивская вздохнула.

— Я? — И вдруг заговорила зло, с упрёком. — А почему ушёл вчера вечером? В такую минуту? Ты только поучать горазд...

Но Кулиш продолжал тем же тоном:

— Если бы не вы... Жил бы себе на хуторе, хозяйничал бы. А какое наслаждение, Ганна Гавриловна! Едешь по степи, ровной, как стол, дышишь полной грудью, доверчиво дышишь и... не хочешь ничего! Ведь это же дивное состояние души — ничего не желать!.. Ничего не помнишь, ни о чём не жалеешь, чувствуешь только, что жизнь — то есть простое ощущение бытия — это самый драгоценный дар провидения, источник всех радостей, всех поэтических движений сердца. Это ощущение крепнет всегда под влиянием животворящих порывов степного воздуха и полнейшего произвола во всех своих поступках. Кабы только не было на сердце печали, хвалил бы господу милосердного, любуясь его творениями, и всё! А здесь, в большом городе, отказавшись от простоты природы...

— Тарас Григорьевич! — неслышно войдя, доложила Марина.

— Тьфу, цур тебе пек! — отодвинулась Ганна от Кулиша. — Сколько тебе раз говорила: не ходи по ковру! Ходи так, чтобы слышно было. Проси! Проси пожаловать!

Кулиш неловко поднялся с дивана.

Марина, топая сапожками, медленно пошла к двери.

— Давно не был. Пришёл всё-таки.

— Что бы это значило?

— Увидим. Увидим.

## 48

— Что за неуживчивый человек, ей-богу! Только пришёл, и сразу як той Филипп з конопель, с нападками...

— Нет, ты мне, Пантелеймон Александрович, объясни, что это значит?..

— И чего бы кричать? Завтра зайду к тебе, в Академию, занесу текст, и сам увидишь, что всё ладно.

— Почему же было не показать мне письмо? — снова крикнул Шевченко, сжимая кулаки.

— Ну вот, опять кричишь! Я, может, не успел. Журнал сдавали в печать... Да завтра же принесу, увидишь сам!

— Ну, ладно. Да смотри! Я теперь не поддаюсь на пчёлкин медок: знаю, что у неё жальце в запасе.

Тарас присел на стул.

— Я к вам на минутку, Ганна Гавриловна! Дело есть. Собственно, даже и не к вам. Мне нужно... поговорить с Мариной.

Кулиш и Ганна переглянулись. Борлакивская

удивлённо улыбнулась и спросила, томно склоняя голову:

— Разговор не любовный, надеюсь?

— Любовный. Не подумайте только...

— Ясно, ясно! — засмеялся Кулиш. — Вон куда гнёт!

— И как же, Ганна Гавриловна?

— Как? Да пожалуйста, прошу вас.

— Спасибо.

— Но с условием.

— С каким?

— Сегодня у меня гости. Оставайтесь и вы.

— Видите ли... — замялся Тарас. — Я собирался в театр.

— Опять негра смотреть? Ты знаешь, Тарас, он и меня так увлёл, так взволновал, что я решил взяться за переводы Шекспира: по-украински его давно пора переложить!

— Что ж... Дело хорошее! Хорошее дело...

— Ну, и как же, Тарас Григорьевич? — снова вмешалась Ганна.

— Что?

— Останетесь?

— Придётся.

— Поужинаете с нами, прочитаете что-нибудь, а потом и с Маринкой поговорить можно будет. Только не переходить границ! — и Борлакивская погрозила пальчиком.

— Добре, — с досадой сказал Тарас.

## 49

Борлакивская была нарядна и мила, встречала гостей, представляла всем приехавшего в гости родителя:

— Знакомьтесь с моим папенькой.

— Ротмистр в отставке, полтавский помещик Таволга, Гаврила Мартынович.

— Очень приятно.

И всюду звенел тенорок франтоватого и юркого ротмистра:

— Имею честь! Таволга. Имею честь! Имею честь!

В зале было полно гостей. Сидели всё ещё отдельными компаниями и, в ожидании ужина, вели вялый разговор.

Веселее всего было, наверное, молодым людям, окружившим Таволгу.

Он рассказывал нечто занятное:

— Что бы ни говорили про учёных, а они, в сущности, добрые малые. Когда я был в Лондоне на выставке, я видел там, представьте себе, живую искусственную рыбу. И что же вы думаете...

Говорил он на странном наречии из французских, русских и украинских слов. Среди молодых людей, с нескрываемой насмешкой слушавших болтливого старика, была и внучка его, племянница Борлакивской, учившаяся в Питере, в Смольном институте благородных девиц, одна из учениц и поклонниц Николая Дмитриевича Старова. Звонкий голосок её звучал громче всех.

Кулиш подошёл к ней.

— Здравствуйте, моя милая барышня. Давно не имел счастья видеть вас. Не выпускают отсюда? А я, знаете, помню, как ещё ваша тётя, Ганна Гавриловна, училась там, и я, бывало... — и вдруг перешёл к другому. — Спойте нам что-нибудь, Ясочка.

Яся сделала книксен. Присела безукоризненно, показав добрую институтскую выучку.

— Их, вижу, не хуже нашего брата-солдатика артикулам обучают, — заметил Тарас, обращаясь к Ганне Гавриловне.

Борлакивская поморщилась.

— Это я, простите, пани Ганна, из-за недостатка светского воспитания плету бог знает что... — Но колючую фразу не кончил. Барышня, поправив на кринолине складку, запела. Голос у неё был сильный, красивый.

Гости подвинулись ближе. Яся запела французский романс. Потом, по знаку тётушки, начала украинскую, тарасову любимую: «Ой, зійди, зійди, зіронько вечірняя...»

Когда институтка кончила, Кулиш снова подошёл к ней и, слегка картавя, поблагодарил:

— О господи, пошли сему ангелу счастья, — и поманил к себе Тараса. — Иди, побеседуем с нашей землячкой.

Тарас нехотя подошёл. Яся зашебетала, обрадовавшись вниманию прославленного поэта, хотя, правда, она ни за что не рассказала бы о нём в Смольном, в институте благородных девиц, потому что это был мужицкий поэт.

— Вы бы что-нибудь из Глинки спели... — обратился к институтке Тарас.

— Не умею. В институте обучают французским романсам, здесь, у тётушки, — малороссийским...

Кулиш тем временем, пробираясь мимо Борлакивской, будто невзначай нагнулся и шепнул ей, указав глазами на Тараса и Ясочку:

— Чем не пара?

— Верно, верно.

— Подумай, подумай, Ганна. Дело стоящее! — и пошёл дальше в гостиную, где разглагольствовал пан Таволга, родитель хозяйки.

— Вы вот, молодые люди, танцуете всякие



танцы... Не так, правда, как в наше время, но всё-таки... А вот и не знаете, что каждый танец соответствует различным склонностям. Кадриль, например, отвечает характерам сангвиническим, галоп — жёлчным, вальс — холерическим, а полька есть принадлежность людей нервических и страстных...

Старый ротмистр был некогда отчаянным танцором, первым в уезде, а теперь, по слабости ног, мог только заниматься теорией любимого дела.

— Полька! Полька, господа, это есть подстрочный перевод любви! Первая фигура, называющаяся променадом, то есть, барышни мой, прогулкой, требует от вас беспримерного кокетства и грации. Это первое свидание двух влюблённых, неожиданно встретившихся в аллеях парка...

Таволга старательно пересказывал учебник танцев, известный многим присутствовавшим кавалерам и дамам. Слушатели еле сдерживали улыбки.

А гости всё прибывали. Пани Борлакивская старалась устроить у себя некое подобие великосветского салона и тащила к себе всех, кто мог заинтересовать её гостей.

Несколько дам сидели в правом углу украшенной вышитыми рушниками залы и с любопытством поглядывали на Тараса, переговариваясь о чём-то по-французски. Тараса Григорьевича это забавляло: дамы, разумеется, не подозревали, что мужицкий поэт их понимает.

Вошла Марина. Начала сервировать чайные столы. Движения её были столь плавны и гармоничны, лицо было так привлекательно, что некоторые господа невольно даже привстали ей навстречу. Тарас тоже отошёл от барынек и,

устроившись в углу у разноцветной изразцовой печи, украдкой смотрел на горничную. Господи! Должно быть, девушка снова болела, но глаза отвести от неё не было сил! На щеках вспыхивал болезненный румянец. Белая тонкая рубашка с прозрачной вышивкой собиралась на плечах и на груди в такие складки, какие не снились и самому Фидию...

Заметивши взгляд Тараса Григорьевича, Марина поклонилась ему, покраснела вдруг, хотела что-то спросить, но поспешила прочь.

Кулиш наблюдал за ними.

— Гляди, какая любовь! Глаз не сводит! — шепнул он хозяйке.

Та отмахнулась. А когда чаепитие кончилось, перед самым ужином, подошла к Тарасу и попросила прочесть что-нибудь, ещё нигде не опубликованное. Присутствующие поддержали просьбу.

Тарас, выполняя обещание, не заставил себя долго упрашивать и, извинившись, вышел на минуту взять в кармане тулупа тетрадь.

Через переднюю пробегала Марина.

— Сердце, Марыся. У меня от Василия..: несколько слов. После ужина скажу.

— От Васи? — вспыхнула Марина. — А я думала, я думала... Спасибо! Не оставит вас бог!

Шевченко вздрогнул, как от удара: Васька не соврал!

Пока поэт готовился к чтению, Ганна Гавриловна сообщала чопорным барыням редкостные кулинарные рецепты. Помещица любила поесть, изысканная кухня была её, как говорил Кулиш, «пассией».

— Удивляюсь я вашему вкусу, милая моя, но пожалуйста: щука по-еврейски с шафраном и мушкатом готовится очень просто. Пусть ваш повар порежет на куски фунтов пять щуки, посолит и даст ей часок полежать...

Дамы слушали с интересом.

— Потом пусть положит в кастрюлю, вольёт туда четверть стакана уксуса. Выдайте ему ещё и кружку вина, пусть вольёт. Прикажете ещё положить несколько пригоршней изюма, два-три ломтика лимона... Но смотрите, милая, чтобы не было на лимоне ни зёрнышек, ни этой горькой белой кожицы...

— Когда я был на выставке в Лондоне... — начал было Таволга, но Кулиш обратился ко всем гостям:

— Можно, господа, начинать? Просим, Тарас Григорьевич!

Тарас начал:

Неначе цвяшок, в серце вбитий,  
Оцю Марину я ношу.  
Давно б списать несамовиту,  
Так що ж? Сказали б, що брешу,  
Що на панів, бачиш, сердитий,  
То все такеє і пишу  
Про їх собачії звичаї...

В дверях залы робко встала Марина. За нею один за другим появлялись и прочие слуги послушать украдкой. Как ни кивала им госпожа Борлакивская, не помогало ничто. Лакеи, истопники, поварята и горничные делали вид, будто не замечают её устрашающих знаков.

---

<sup>1</sup> Безумную Марину эту я в сердце, словно гвоздь, ношу. О ней поведал бы я свету, да скажут: выдумкой грешу, решат, что, чем-нибудь задетый, оклеветать господ спешу,— пишу об их собачьих нравах...

Прогнать прислугу нельзя было. Приходилось тщательно скрывать обыденный домашний распорядок, потому что Тарас, после такой расправы, сразу перестал бы читать, и, кто знает, удалось бы или нет заманить его сюда ещё когда-нибудь... Все уже знали, что Шевченко, приходя в гости к помещикам, всегда нарушает приличия и зовёт в горницу всю челядь, и никто не решался спорить с ним...

І звір того не зробить дикий,  
Що ви, б'ючи поклони,  
З братами дієте...<sup>1</sup>

Тарас Шевченко читал перед шокированными господами, перед ошеломлёнными крепачками страшную повесть о ляхе-управляющем, который, тотчас после венца, взял невесту в барский дом, а мужа отдал в солдаты...

Неначе ворон той, летячи,  
Про непогоду людям криче;  
Так я про сльози та печаль...<sup>2</sup>

Заперли бедную Марину в палатах...: «Приходила мати у пана просити. Звелів не пускати, а, як прийде, бити.— Що тут їй робити? Пішла, ридаючи, в село. Одним-одно дитя було, та й те пропало...»<sup>3</sup>

Ганна Гавриловна не сводила с поэта глаз,

---

<sup>1</sup> И зверь не сделает того, что вы, бня поклоны, творите с братьями...

<sup>2</sup> Как ворон в поднебесьи кричит, суля дожди и неудачи, так слёзы предрекаю я...

<sup>3</sup> А мать приходила за дочкой своею, не видела милой,— старуху лакеи прогнали в три шеи. Что делать ей? В слезах ушла. У матери лишь дочь была, и та погибла...

изображая восторг, закрывала руки, прижимала их к груди, к покрасневшему лицу...

Тарас Григорьевич продолжал... Вот мать Марины «під тиним сіла і ніч цілісіньку сиділа та плакала. Уже з села ватажники ватагу гнали, а мати плакала, ридала. Уже і сонечко зійшло, уже й зайшло, смеркати стало, — не йде, сердешная, в село, сидить під тиним. Проганяли, уже й собаками цькували — не йде та й годі...»<sup>1</sup>

Ганна Гавриловна волновалась. Не сиделось спокойно и Кулишу... Люди, стоявшие у двери, замерли в молчании. Тарас, читая, будто обращался только к ним, забывая про всех слушателей, сидевших в зале.

Господин Таволга досадливо хмурился. Тараса он терпеть не мог, но теперь, опасаясь гнева дочери, любительницы «малороссийщины», сидел тихо, поражённый поведением своей Ганнуси: пани Борлакивская плакала.

...Аж гляды — палати зайнялися.  
Пожар! Пожар! І де взялися  
Ті люди в бога? Мов з землі  
Родилися і тут росли,  
Неначе хвилі напливали  
Та на пожар той дивувались.  
Та й диво там таки було!  
Марина гола наголо  
Перед будинком танцювала  
У парі з матір'ю... — і страх! —  
З ножем окровленим в руках...<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Несчастливая под тыном села и до рассвета просидела, проплакала. Уж из села с зарёю стадо выступало, а мать всё плакала, ридала. Уже и солнышко взошло, уже зашло, смеркаться стало, — бедняга не идёт в село, сидит под тыном. Прогоняли, собаками уже страшали — всё не уходит.

<sup>2</sup> ...Смотри, палаты осветились. Пожар! Откуда появилось народу столько? Из земли как будто бы они росли. Как будто волны набегали и за пожаром наблюдали.

Теперь уж и хозяйка и гости, даже сам Гавриил Таволга, слушали страшную поэму — кто с ужасом, кто с восторгом. Как же страшно звучали слова безумной Марины:

«Хоча б намисто було взяти; оце б повісилась... От бачиш, тепер і шкода... Хоч топись! Чого ж ти, мамо моя, плачеш? Не плач, голубочко, дивись: це я, Мариночка твоя! Дивися: чорная змія по снігу лізе...»<sup>1</sup>

Кулиш пробирался на цыпочках, ботинки его противно скрипели, подошёл к Борлакивской, склонился к её розовому ушку и зашептал:

— Отошлите свою Марину к соседям; это случайное совпадение имён, да и вообще... Поглядите, какими глазами смотрит на него! Она упадёт сейчас на колени... Уведите скорее! Да скорее же! Не придётся им разговаривать нынче... Сватовство откладывается.

Ганна Гавриловна проворно поднялась и вышла. Тарас, читая, даже не заметил лёгкого движения в зале.

...і пострибала через двір  
У поле, вніючи, мов звір.  
Пошкандибала стара мати  
Свою Марину доганяти.  
Пани до одного спеклись,  
Неначе добрі поросята,  
Згоріли білії палати,  
А люди тихо розійшлись.  
Марини й матері не стало...

---

Вот были чудеса! Ей-ей, с беднягой матерью своей Марина голая плясала, она держала — ну и страх! — нож в окровавленных руках...

<sup>1</sup> Монисто надо было взять, — вот бы повесилась! Не знаю, как быть теперь... Ну, хоть топись! Зачем ты плачешь, дорогая! Ко мне, голубка, присмотришь, — я здесь, Мариночка твоя! Смотри-ка: чёрная змея ползёт по снегу...

Уже весною, як орали,  
Два трупи на полі найшли  
І на могилі поховали...<sup>1</sup>

Тарас Григорьевич сел. Дворня отступала за дверь под натиском хозяйки. Марины между ними уже не было.

Пап Таволга, облегченно вздохнув, покосился на поэта и снова продолжал:

— Что такое вальс, господа? Вальс? Это музыкальная поэма в сладостных формах... Вальс бывает живой и меланхолический, огненный или нежный, пастушеский альбо военный. Такт его свободен и решителен. Он независим, как каприз!

## 51

Тараса уговорили остаться на ужин.

Грицько Митрофанович старательно потчевал всякими дулишками, калганивками, варенухой и прочими настойками. Поэт несколько раз равнодушно выпил, но затем спохватился:

— Спасибо.

— Почему же? — спросил Кулиш. — Ты же ещё не во хмелю?

— Я судьбою своею пьян! Довольно с меня.

— А если я попрошу за нашу дружбу выпить чарку?

— За дружбу? Дружба, она, видишь ли... Есть такая русская поговорка: «Дружбу водить — себя не щадить...»

---

<sup>1</sup> И со двора бежать скорей! Как зверь завывала, и за ней заковыляла мать седая, свою Марину дгоняя, а господа — те испеклись, как будто в печке поросята, сгорели белые палаты, а люди тихо разошлись... И женщин двух искать не стали; уже весной, когда пахали, два трупа на поле нашли и тут же их земле предали.

Кулиш обиделся, встал и ушёл на половину Ганны Гавриловны.

Борлакивский в тот вечер приставал со всякими напитками, как никогда. То надо было выпить со всеми гостями первую чарку за здоровье хозяйки — кто же посмеет отказаться? — потом пристал со второй — за бога-сына и бога-отца; затем третью пили уже за троицу; четвёртую — за четырёх евангелистов; пятую — за пять частей света, созданных господом богом...

На этом, на пяти континентах, Тарас и остановился. Наблюдал, как шестую рюмку пили за творца, сотворившего мир в шесть дней... Гостям и прибауткам не было конца. Появились там и двенадцать апостолов и, возможно, даже все сорок дней всемирного потопа; Таволга не отставал от зятка.

Как только представился случай не нарушая приличия встать из-за стола, Шевченко спросил у хозяйки:

— А нельзя ли хоть теперь поговорить с Мариной? Я пойду к ней.

— Подождите минуточку.

Борлакивская вышла. Вернулась нескоро — с виноватым лицом.

— Постарался! — сердито обратилась она к мужу. А затем к Тарасу: — Мы с вами Грицька Митрофановича не предупредили, а он взял да и отослал Маришку к моей тётке, на Крестовский, по делу.

Тарас поднялся из-за стола и, едва кивнувши всем, вышел прочь.

Кулиш, наблюдавший всё это из-за двери, поспешил было за ним, но в передней поэта уже и след простыл. И оделся он, поди, на улице, не иначе.

— Досадно, — сказал Кулиш. — Досадно! — и



почесал седеющий висок тонким согнутым пальцем. Ему вдруг стало не по себе. Стало до боли грустно. Хотелось догнать Тараса и наговорить ему ласковых слов, успокоить, побеседовать «по щирости...»

Начинались танцы.

А на кухне, забыв свои обязанности, о чём-то спорили, тихо и горячо спорили слуги.

## 52

Утром почтальон принёс последнюю тетрадь журнала «Русский вестник», в котором был напечатан протест передовой русской интеллигенции против клеветнической статьи в № 35 журнальчика «Иллюстрация» «Западно-русские жидаы и их современное положение».

Раскрыв журнал, Тарас Григорьевич ещё раз прочёл текст, который ему показывали в редакции перед напечатанием, когда украинский поэт присоединял и свою подпись к списку, открытому в следующем номере журнала:

«Иллюстрация» позволила себе не просто бездоказательное обвинение, не просто недостойный намёк, который мог бы в жару спора вырваться у человека, увлечённого фанатизмом мнения или не вполне развитого в нравственном отношении...

Никакой честный человек не может оставаться равнодушным при таком позорном поступке, и вся русская литература должна, как один, протестовать против него...

Нижеподписавшиеся с негодованием протестуют против клеветы, до которой унизилось одно из петербургских изданий...»

Письмо было большое и гневное. Подписали его сорок восемь виднейших деятелей русской

науки и литературы. Среди них были все трое Аксаковых, известный переводчик Шекспира — Н. Кетчер, И. Тургенев, Н. Чернышевский...

В конце была приписка: «Список этот остаётся открытым до будущей книжки «Русского вестника», в которой будут сообщены имена всех, кто захочет присоединиться к этому протесту...»

Бросив журнал, Тарас Григорьевич сердито сунул правую руку в карман и зашагал по комнате. Он всё ждал Кулиша, который должен был принести текст прибавления к протесту, отдельного «письма украинских деятелей».

Чтобы заняться хоть чем-нибудь, достал из-под стола топор, кривое сосновое полено и взялся щепать лучину для растопки.

Стоял на одном колене, ударял топором с размаху, затем осторожно откладывал щепочки, укладывал каждую у печки на прибитом к полу листе железа.

Щепки получались лёгкие, пахучие. Топор с тихим звоном вгрызался в большой и липкий сук, твёрдый, красноватый, цвета хорошей сёмги, и Шевченко снова с силой бил поленом об пол.

## 53

Под её окном каждое утро подавал знаки, чуть только брезжил рассвет.

Марина отвечала, из-за пёстро расшитой занавески махала рукой, обещала притти. Всякий раз Василий ждал в условленном месте, ждал до поздней ночи и уходил ни с чем. Девушку по-прежнему держали взаперти.

Погода была плохая. Васька в садике за хорами какого-то добродушного старичка-генерала промокал насквозь; а когда являлся домой, гряз-

ный и жалкий, по приказу господина Болотова его снова тащили на конюшню.

— Угодишь ты на каторгу, Василий Митрич,— говорил ему повар Спиридон. — Ой, пропадёшь! Вот и у меня был однажды случай, тоже из-за девицы, да!.. — и заботливо смазывал какой-то мазью рассечённое розгами тело.

После порки, после мази спина горела, парень метался, стонал, — сказывались и простуда, и розги, и тоска. На заре его будили к лошадям. А утром снова брёл украдкой к соседнему дому и ждал, пока Марина улучит минуту и выглянет в окно.

Вечером, в саду, всякий раз выходил к нему старый камердинер генерала и, любопытствуя, спрашивал: «Что? Не идет?» — и, подмигивая, уходил домой. Конюх прижимался к стволу яблони и так простаивал до утра.

Однажды, когда Ганна Гавриловна, Таволга и Борлакивский уехали на представление Юлии Пастраны, Марина выбралась из дому. Перелезла через мокрый и скользкий каменный забор. Шла, минуя дорожки, по вязкой после дождя земле.

Василий стоял на заветном месте. Шагов не слышал.

— Васенька!

Он обернулся, замер; затем бросился к ней, схватил за руку, прильнул, чтобы согреться, набраться сил; смотрел ей в глаза, в лицо, в темноте ничего не различая. Пальцами, как слепой, проводил по еле заметной горбинке на переносице, по опущенным векам, по овалу щеки, нащупывал насторожённо приподнятую бровь. Марина доверчиво льнула к нему, но чувствовала холод от его мокрой одежды и тоже начинала дрожать...

Что же это? Почему он молчит? Марина старалась увидеть в темноте его лицо, — исхудавшее, казалось ей, и злое — и ждала... Чего? Она сама не знала — чего. Он должен был что-то сказать, что-то сделать что-нибудь такое, такое... А он уже стоял, напуганный смелостью своих рук. Что с ним? Что говорит? Зачем по-детски, простодушно уверяет снова, что сбежит с нею, сбежит далеко, где их никто не слышит...

— Есть у меня, Марыся, один знакомый человек, шкипер... Обещает нас забрать с собой, как только вскрыется лёд...

— Ты, Вася, начитался книжек, — говорила ему, а самой хотелось поверить, что всё это случится: они убегут. Куда? Куда? Вот... вот большая лодка в тёмном море, и он, уходя от погони, сильными взмахами весёл гонит её вперёд и вперёд. Василий где-то здесь, но она снова не может рассмотреть его. Ей очень холодно и страшно. Она пытается представить себе его лицо и вдруг почему-то видит... Тараса.

— Вася? Что же это? Что же это со мной делается? — она прижимается к нему крепче, но ей становится ещё холоднее. Пытается вспомнить что-то, и не может. Снова думает о Тарасе. И ей кажется даже, что он сильнее Васьки, лучше и... моложе.

— Вася! Что же это? Васенька!

## 54

В мастерскую, запыхавшись, прибежала Оля:

— Скорей одевайтесь... сейчас придёт!

— Кто?

— Олдридж... Олдридж!

Шевченко сел на диван. Наконец-то!

— Дядя Тарас, да ну же! Мама прислала, чтоб живей. А вы сидите!

— Сейчас, детка. Подожди.

— Я и так жду.

Тарас подхватил на руки Оленьку и закружился с ней по мастерской, напевая легкомысленный брабантский вальс, ударил по ручкам офортного станка, и они завертелись мельницей.

У Толстых собралось немало гостей, но Тарас прошёл с чёрного хода и, забравшись на укромную площадку лестницы, сидел в потёмках и ждал.

Актёр позвонил у двери, как и обещал графине, ровно в семь. Услыхав нетерпеливый звонок, Тарас поспешил в залу.

Думая, что опоздал, Айра влетел в прихожую вихрем, бросил седовласому лакею цилиндр и перчатки, сорвал с плеч широкополый плащ, на ходу приглаживал жёсткие, в мелких завитках, волосы. Портьеры в прихожей, ветки цветов — всё вокруг него колыхалось, как от ветра.

Артист раскланялся со всеми сразу, но каждому показалось, что он поклонился только ему и никому больше. Это надо было уметь. Вот так Олдридж обращался со сцены к зрителям, согревая каждого своим огнём...

Старов, на правах давнишнего знакомого пожимал ему руки, кое-как выдавливал из себя отдельные английские слова, выученные за последние дни. Напряжение связывало его, и Николай Дмитриевич даже не суетился.

Поцеловав ручку графине и скорчив смешную гримасу своему толмачу, Катеньке, артист направился прямо к Тарасу Шевченко.

Айра Олдридж уже знал о народном поэте, слышал кое-что и здесь, в Питере, и ещё в Лондоне, случайно встретившись, перед отъездом в Россию, с Александром Герценом...\*

Айра знал поэта по описаниям Катеньки и сразу отличил среди прочих гостей, — быть может, по лицу, по усам и лысине, по костюму: Шевченко зашёл к Толстым запросто, в пиджаке и домашней вышитой сорочке.

Некоторое время оба художника стояли молча, внимательно рассматривая друг друга насторожённо, недоверчиво, — тот ли это человек, образ которого заранее возник у каждого в душе?

Пред поэтом встал весёлый и сильный мужчина с искорками грусти в глазах. Протянув руку, Олдридж неожиданно привлёк поэта к своей груди и рассмеялся, сам не зная чему. Щербина, забившись в уголок, притих и наблюдал оттуда.

Забыв о зрителях, Айра и Тарас, сели на узенький диванчик, смотрели друг на дружку и молчали. Хотелось высказать многое, но не было... языка.

На помощь пришла Катя и, как учтивая хозяйка, не отходила от них. Разговор, было видно по всему, предвиделся длительный. Айра спохватился было, вспомнил о хозяйке, о гостях, но вскоре снова забыл.

Катенька вторично пересказывала трагику всё, что знала про горькую и героическую жизнь Шевченко. Затем переводила поэту рассказ Айры о его приключениях... Нашлось много общего...

Шевченко узнал о службе негра в лакеях, ради искусства, и вспоминал, как и его самого — «казачка», крепостного слугу — секли за сожжённые во время рисования огарки.

— Секут и поныне моих крепостных братьев, сестру.

— Секут нас всех, — согласился Айра. — Секут и мой угнетённый в рабстве народ... Секут и меня самого. Да, да! Выдающиеся ан-

глийские актёры до сих пор отказываются играть вместе с презренным негром! Да и ваш знаменитый Самойлов тоже не захотел выступать на одних подмостках с Олдриджем. Но меня всё же постигла удача на этом свете, а не только, как моих собратьев, в царстве небесном: я единственный негр, с которым водятся белые, богатые и сановные люди. Меня почитают, плачут от сказанного мной слова. Уважают меня ещё и... за деньги! Считают богачом! И это — золото! — причина тому, что не отворачиваются люди от цветного лица моего. Золото! Оно обеляет меня. Это же словно про меня сказал мой учитель, моя совесть — Шекспир:

Здесь золота довольно, чтобы сделать  
Всё чёрное — белейшим, мерзкое — прекрасным,  
Бесчестное — правдивым, низость — благородной,  
И юным — старика, и смелым — труса...

Тарас обнял его. Это показалось доверием, проявленным без размышлений, без дум...

Хотелось рассказать о многом. Айра потащил его в угол; говорил о встрече с Герценом, но толком ничего не мог рассказать; вспоминал матросов, недавнее восстание негров, расправы с ними...

— Лицемерие стало девизом нашего времени! Американский сенатор Дуглас, прозванный в Штатах «маленьким великаном», едет на Юг, в хлопковые штаты, и распинается там за сохранение невольничества. Рабовладельцы, конечно, приветствуют его. Затем он едет на Север, чтобы там выступать против рабства!

— Это же водится и у нас, между панями и сановниками. Спорят об уничтожении крепостного права. Там распинаются, там протестуют — стараются угодить на всякий вкус. Создают но-

вые губернские комиссии. Спорят, спорят, — спешить им некуда. Но великий народ не хочет ждать: у нас всюду, всюду крестьянские бунты. Призрак пугачёвщины ещё стоит над Россией!\*

Катя не успевала переводить. Да и не понимала всего. Но вскоре стала замечать, что собеседники всё реже и реже обращаются к ней.

Лицо и руки Олдриджа помогали ему почти без слов передавать свою мысль, а Тарас дивился понятливости актёра, воспринимающего и его собственные, как ему казалось, не очень выразительные жесты и фразы. Ему помогал скудный запас французских слов.

Гости перешёптывались, посмеивались. Напрасно Анастасия Ивановна старалась объединить всех общим разговором.

Заметив, что любопытные присматриваются к их красноречивой и довольно-таки потешной беседе, новоявленные друзья, обнявшись, стали ходить по зале, а потом, словно невзначай, скрылись в соседней комнате, пошли ещё дальше, по лестнице, и очутились в детской. Щербина пошёл было за ними, но вернулся.

Опершись локтями на старинный виртовский рояль, Айра сидел и прислушивался. По углам что-то шуршало: в детской у Толстых был своеобразный зверинец, там жили морские свинки, белки, горлицы, ручная канарейка.

На рояле стояла свеча. Оба глядели на пламя. Вдыхали. Вздохнёт один, потом другой. Айра улыбнётся, блеснув зубами. И Тарас протянет к нему руку, а глаза увлажнятся слезой.

Первым спохватился Олдридж. Артисту нельзя забывать светских приличий.

Дунул на свечку, взял Тараса за руку и пошёл вниз, в залу.



Художники бросили карандаши. Даже сановные старички, оставив карты, пришли послушать.

Олдридж читал отрывки из «Макбета».

Заметно было, что актёр чем-то озабочен, взволнован, что-то мешало ему.

И мне он так же кровный враг. Миг каждый  
Его проклятой жизни  
Меня разит, как меч...

Граф Фёдор Петрович спустился из кабинета, оставив работу, с запачканными воском руками; слушал, посматривая то на поэта, то на артиста. В добродушной хитровой улыбке шевелились сухие губы.

Встав у входа, Толстой, по-стариковски не очень церемонившийся с завсегдатаями салона, одетый по-домашнему в бархатную шубку, подбитую каким-то полосатым мехом, — слушал чтение и жалел, что «Макбета» Олдриджу в Петербурге играть запретили.

Граф слушал. При его симпатиях ко всему английскому, это доставляло несказанное удовольствие. Тарас украдкой посматривал на старика. Из-под нависших бровей серо-голубые глаза Толстого смотрели открыто и ясно. Ноздри чуть шевелились. Спокойная благородная осанка его напоминала Тарасу портреты живописцев нидерландской школы.

Тихо было в зале.

К оружию, к оружию скорей!  
Коль весть проклятая верна,  
То всё равно — остаться иль бежать.  
Уж надоело мне светило мира...  
Тревога! Смерть, сюда! Вой, ветер, вой!  
С оружием иду на смертный бой!

Без грима, без костюма, в домашнем окружении — Олдридж читал, не сходя с места. Жесты его на сцене были бурны, несдержанны, но теперь он сэкономил их. И в этом была особая прелесть.

Олдридж кончил. Граф, чтобы развлечь его, предложил всем вместе спеть и не сводил глаз с чёрного, на мгновение увядшего лица, наблюдая, как вновь оживает оно, загораются глаза.

Пели у Толстых редко. Вот и теперь начали не в лад несколько голосов. Но всё-таки «Вниз по матушке по Волге» понравилась Олдриджу. Он спросил, что за песня. Графиня любезно объяснила, а Олдридж, подученный Катенькой, пристал к поэту с неотступной просьбой — спеть одну из песен своей родины.

— Я пел сейчас со всеми вместе. Это и есть одна из песен моего народа...

Но Айра был неумолим.

— Я вам показал своё искусство. Я слышал о вашей Украине ещё в Лондоне. Слышал из уст ваших поклонников! И я хочу послушать песню.

Катя переводила.

Оля побежала к повару и притащила его старенькую гитару с огромным жёлтым бантом. Тарас хоть и не чувствовал неловкости перед избранным обществом, петь не хотел. Но Айра взглядом подбодрил его.

Шевченко взял гитару и вмиг преобразился.

Пел он «Явір зелененький». Пел в последнее время уж и не очень важно — нехватало голоса, а аккомпанировал тоже, казалось, не лучше, но в песне было такое обаяние, что невольно заслушались все, а Олдридж, забывшись, стал подпевать, удивительно легко схватывая незнакомую мелодию украинской песни. Пели вдвоём. Затем

Айра откашлялся, подошёл к фортепьянам и затянул какую-то весёлую негритянскую мелодию, постепенно перешедшую в минор, и Тарасу казалось, что он различает даже отдельные слова: Вот такие же печальные и зовущие, как и слова его собственной песни.

— А спросите, серденько, о чём он пел,— потянулся Тарас Григорьевич к молодой графине.

Олдридж коротко ответил.

— О друзьях, о дружбе, — перевела девочка:

К концу вечера Фёдор Петрович заметил, что куда-то девался Щербина. Стали искать и нашли его, грустного, на окне, за шторой.

Айра подошёл ближе и молча повёл Щербину к столу.

Поэт упирался, отворачивался, никак не мог сдержать просветлённую улыбку, совсем детскую, неожиданную на хмуром лице.

## 56

Кулиш добавления своего к протесту не принёс, но вместо себя, на всякий случай, прислал Грицька Митрофановича.

Не снимая калош, в шубе, Борлакивский плюхнулся на диван и забасил:

— Панько передал вам какой-то журнал.

— А сам-то? Побоялся?

Тарас начал читать. Лицо его хмурилось больше и больше, хотя в добавлении к протесту, напечатанном в «Русском вестнике», на первый взгляд, будто бы ничего особенного не было. Авторы письма утверждали, что выходка журнала «Иллюстрация» против евреев напоминает времена Иоанна Грозного. Но в то же время весь текст отдавал каким-то пакостным душком...

«Гг. Костомаров, Кулиш, М. Вовчок, Номис и Шевченко прислали свои подписи при следующем письме».

Первое, на что Тарас обратил внимание: письмо, подписанное несколькими именами, было составлено от первого лица — «я»... Кулиш не доглядел!

«В сорока осьми именах, подписавших протест, напечатанный в № 21 «Русского вестника», я уверен, есть и имена малороссиян, которые вообще никогда не оставались позади представителей Великороссии во всяком истинно-человеческом движении. Но между этими именами я не вижу ни одного, с которым связана идея собственно малороссийской, украинской или южно-русской народности, проявившаяся в последнее время в литературных произведениях разного рода...»

Тарас положил журнал на колени...

— Было одно моё имя, да и то...

— Что говорите? — спросил Борлакивский.

Тарас не ответил. Читал дальше:

«Много или мало известно покамест таких имён, но голоса их имеют в этом деле особенно важное значение, выражая мнение о еврейском вопросе того народа, который больше великороссиян и поляков терпел от евреев...»

— Предатель ваш Кулиш! — вскричал Тарас и, потрясая кулаками, забегал по мастерской. — Подлец! Даже образ Яго бледнеет пред ним!

— Что вы такое говорите, батьку? Что случилось?

Тарас, комкая бумагу, дочитывал многословные рассуждения. Получалось, будто «представители Малороссии» делают великодушную уступку общественному мнению.

«...И несмотря на то, современные литературные представители этого народа, дыша иным духом, сочувствуя иным стремлениям, прикладывают свои руки к протесту «Русского вестника» против «Иллюстрации».

— Тонко! Очень тонко! Видна рука нашего славного Кулиша! Тонко, как и его кокетливый почерк... В трёх столбцах сумел поместить столько пакостных слов! Он, видите ли, говорит, что украинский народ в песнях своих воспевал еврейские погромы. Он, видите ли...

— Вы будто взволнованы? — чтобы перекричать Тараса, во всю глотку забасил Борлакивский, пожимая плечами.

— Я сердит, я лют! Вам ещё надо объяснять? А? — кричал Тарас и стучал кулаком по столу.

— Как вы такое можете говорить, батьку?

— Я должен говорить! Кричать! Счастье его, что не отважился сам принести свою фальшивую бумажонку... Грозен, говорят, враг за горами, а ещё грозней — за плечами!

Немного остывши, Тарас Григорьевич вернул Борлакивскому изрядно помятую книжку журнала.

— У меня к вам просьба, Грицько Митрофанович... деликатная.

— Понимаю, понимаю. Не рассказывать Паньку, что я тут слышал?

— Обязательно расскажите! Очень вас прошу.

— Нет, батенька мой! Я на такие поручения... нет, нет! Всего доброго!

— Погодите.

— Вы хотите, чтобы супруга меня...

— Страшно? А вы не бойтесь: бог не выдаст, свинья не съест.

В трактире было ещё довольно тихо:

Подвыпивший извозчик смотрелся в зеленоватое стекло штофа и беседовал сам с собой. Над «парой чая» пригорюнился немолодой мужик с жидкой бородёнкой. Лицо у него было измученное, сухое. Казалось, теплятся только глаза, влажные, большие.

Покачивая головой, мужичок тихонько тянул:

...Батюшку с матушкой за Волгу везут,  
 Большого-то братца в солдаты куют,  
 А среднего брата в лакеи стригут,  
 А младшего брата — в приказчики...

Взяв чайники, Тарас увидал в углу Николая Фёдоровича Щербину. Хотел окликнуть его, но заметил унылый наклон головы и сдержался.

Щербина сидел над простывшим стаканом, охватив руками голову. На чёрных волосах руки его казались восковыми, как у мертвеца.

Иногда, открывая глаза, Николай Фёдорович поспешно записывал что-то на большом листе. Что там у него? Щербина вот так и писал всегда в трактирах и харчевнях.

Тарас нагнулся к блюдечку. Жаль было глядеть на такого же, как и сам он, бесприютного человека.

На Тараса некоторые косились, но простонародное усатое лицо, печальный взгляд успокаивали подозрительных.

Разговаривали о снижении цен на земляные работы; о недавно введённом тарифе для извозчиков; о холере, добравшейся и до самой столицы; о голоде, свирепствовавшем в деревнях вокруг Петербурга... Год был неурожайный, тяжёлый.

Среди разноголосого шума Тарас Григорьевич то ли услышал вдруг, то ли ему показалось какое-то украинское слово. Оглянувшись, заметил в углу четырёх мужиков, утомлённых, видимо, дальним переходом. Это были, конечно, ходоки. Со всей империи, на собранные миром копейки, посылали их крестьяне в столицу — искать закона, правды, управы на помещика.

В трактире на мужиков никто внимания не обращал. По столице слонялось таких немало, особенно в осеннюю пору, когда заканчивались полевые работы. Всюду ждали указа про волю и посылали верных людей разузнать.

Один из ходоков, крепкий высокий человек, с длинными выющимися усами, стриженный «під макітру», спорил о чём-то с товарищами.

Чтобы послушать, Шевченко пересел поближе.

— Всё комиссии да комиссии. Чтоб нас обдурить. Будут заседать двадцать лет, тридцать, сорок. И не видать нам воли! А валандаемся мы здесь даром.

— Дядько Обеременко! — понуро отозвался самый молодой. — И так душа болит, а вы...

Услыхав знакомую фамилию, Тарас поднялся. Воспоминание об Андриє Обеременко взволновало его, — то был лучший друг в ссылке, старый солдат. «Если и мелькали, — говорил Тарас, — светлые минуты в моём тёмном долголетнем заточении, то этим я обязан ему, моему простому, благородному другу Андрию Обеременко...»

Тарас подошёл к землякам и поклонился:

— Откуда бог привёл, люди добрые?

— Да вот, — поглядев исподлобья, грубо ответил Обеременко, — мимоходом, по дороге из

Лысянки в Золотоношу, сделали небольшой крюк и забрели в столицу.

— Не к самому ли царю? — подмигнул Тарас.

— Да уж и не к вам, паночку, — отрезал мужик. И разозлился: — Чего это вам от нас надобно? Ну?

— Значит, вы из Лысянки?

— Может, и оттуда.

— А не из села ли Ризане будете?

Один из крестьян, могучий угрюмый мужик, медленно поднялся и встал возле Обеременко, будто собираясь защищать его.

— Я хочу спросить: не родня ли вы будете старому солдату Андрию Обеременко?

Высокий снял шапку. За ним и все трое. Перекрестились.

— Брат, царство ему небесное... Письмо получили.

Шевченко склонил голову и тоже перекрестился.

— Умер? Когда же? В прошлом году мы ещё виделись.

— Где?

— Мы с ним вместе в солдатах были.

— Вы, пане?

— Да я такой же пан, как и вы.

— А кто же?

— Тарасом зовут. Шевченко. Из близкого от вас села.

— Шевченко?

— Вы?

Заговорили сразу все четверо, перебивая друг друга.

— Был у нас лирник один, слепой, пел «Гайдамаков» и ещё что-то... Пел и эту... «Аж страх погано у тім хорошому селі, чорніше чорної зем-



лі блукають люди. Повсихали сади зелені, погнили біленькі хати... Село неначе погоріло, неначе люди подуріли...»<sup>1</sup>

— А исправник того лирника — в кутузку... «Бунтуешь, — кричит, — проклятый!»

Самый молодой подошёл к Тарасу, снял шапку, низко ему поклонился и сказал:

— Так вот вы какой!

Знакомство состоялось. Эти люди давно уже знали его «Кобзаря».

Шевченко сразу ожил. Щербина из своего угла наблюдал за ним.

— Значит, вы с ним братья?

— Брат. Хоть и не видались двадцать лет. Я и лица его не помню.

Тарас начал:

— Был он суровый и строгий человек, царство ему небесное... По виду сердитый даже, но добрый: детей, бывало, встретит где-нибудь, и уже не оттащишь его никуда!

Земляки крестились...

— Ещё, когда привезли меня в этот проклятый форт, заметил я его. Походка, лицо, даже шапка-чабанка, всё обличало земляка. Спрашиваю, что за человек такой? Говорят: Андрий, госпитальный служитель, хохол...\*

## 58

— Так мы с Андрием, плача, и распрощались...

Все молчали. Потом поспешно, словно вспомнив о чём-то, стали доставать из сакв пятаки,

---

<sup>1</sup> Куда как плохо в том селе! На благодатной той земле — земли чернее люди стали, зелёные сады увяли, и хаты белые гниют... Деревня словно погорела, а люди словно одурели...

чтобы расплатиться с половым. Они, видно, куда-то спешили.

— Куда же вы? — спросил Тарас.

— Дело есть в одном присутствии.

— Сегодня ж воскресный день.

Обеременко не ответил. На улице мужики ёжились от холода, но шли степенно и спокойно. В чужом городе, большом и шумном, четверо крестьян держались с удивительным достоинством.

У какого-то подъезда мужики остановились, заглядывали в дверь, пока, наконец, решились переступить порог. Тарас видел сквозь стекло, как они кланялись величественному швейцару.

Вышли они через полчаса, безнадежно опечаленные, угрюмые. Шевченко подошёл к ним. Ничего не спрашивал, но ему всё-таки рассказали.

На Сенном базаре кто-то объяснил им, где можно наверняка дознаться — нет ли уже указа про волю...

Швейцар, пустивши мужиков, послал их по коридору к другому служителю. Тот, получив целковый, сказал, что ему наверняка покамест ничего не известно, но дальше сидит человек, который знает больше, чем он.

Этот, важный такой старичок, тоже взял свой рубль и отвёл их к какому-то заспанному канцеляристу, который за такую же плату ответил, что указа ещё не было.

— Заходите через недельку...

Шевченко выслушал Обеременко и рассердился:

— Отчего же вы мне сразу не сказали, за чем идёте? Такое придумать! Вы хоть бы дома своего попа расспросили. Манифесты должны оглашаться в церквах, поп-то первый узнает!

— Да что там поп! — отмахнулся Обеременко. — Попа и сам чорт не обдурит. Дворяне ему сотни платят, а мы — копейки... Но куда же это мы идём? — стал озираться, заметив, что Тарас Григорьевич сворачивает к Васильевскому острову, в незнакомую сторону. — Нам на постоянный не сюда.

— Сюда, сюда, люди добрые. В гости-то ко мне надо же зайти?

## 59

У Тараса земляки вдруг очутились дома, после долгих скитаний попали под родной кров.

Пока выпили по чарке да обедали чем бог послал, Обеременко рассказывал Тарасу и Прохору Михайловичу о важных делах, которые привели мужиков в столицу. И столько Тарас горького да страшного наслушался! Казалось, будто сам побывал дома, в родных краях, в родном селе, в Кирилловке. И просил по дороге заехать туда, к Ярине, рассказать, что сами они видели его живым и здоровым... Жаловался землякам: пешком пошёл бы с ними домой! Да вот...

А самый молодой из гостей сразу вспомнил: «Заросли шляхи тернами на твою країну, — мабуть, я її навіки, навіки покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому? Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи?»<sup>1</sup>

— Откуда вы знаете это? — вскричал Тарас. — Я написал эти слова десять лет тому назад, в

---

<sup>1</sup> Заросли в тот край далёкий все дороги тёрном, — значит мне на Украину нет дороги торной. Значит, сторону родную я не повидяю, — сам себе вот эти строки снова прочитаю?

Кос-Арале. Кое-кто из друзей переписали себе в тетради...

— Вот видите, — приподымаясь с дивана, сказал Обеременко. — Друзей-то у вас больше, чем вы знаете! И не пришлось вам «читати самѣму оці думи»... Принѣс их нам в село тот же лирик. И ещё говорит: «Дадут вам волю? А землю вам дадут? А начальство переменят? Ждите...»

Шевченко кивал головой. Это были его же мысли, его недоверие.

— Надо, люди, самим что-то делать. Не ждать!

— Надо! — и Обеременко рассказывал про начальство. — Вот исправник у нас... Как бы здесь на него управу найти? У нас вокруг села большие камни по полю, валуны. А исправник выдумал, будто приказ есть — возить нам эти валуны в губернию, в Киев. А камни там у нас, сами знаете, есть и по два роста в вышину! Стали люди готовиться в дорогу, а исправник и говорит, что можно выручить село от такой напасти. Вот мы ему и платим за это несколько раз в год. Платим, платим! Но он-то у нас не один такой начальник! У начальства сто тысяч рук — и в каждую клади хоть по копейке! Слова не кажи, а гаманец покажи!

— Нож им надо показать! — стучал Тарас кулаком по столу. — Топор!

— Да, да... Беда-то большая у нас!..

Когда гости, наконец, заснули — кто на диване, кто на полу, Тарас Григорьевич долго ещё не ложился. Дышать было трудно. Сердце то будто замирало от волнения, то билось, как птица в западне.

Он всё чаще и чаще слышал сердце. Обращался к медикам — не помогало. Просил помощи у Николы Курочкина; но ленивый толстяк в меди-

цину верил мало, а сам себя лечил только редечным соком да ещё разве патентованными пилюльками «Маттеи».

Какие-то предчувствия томили поэта, то мрачные, то радостные виденья посещали его. Он ждал чего-то, и вот оно, и вот оно пришло.

Схватив дрожащей рукой перо и клочок бумаги, начал писать:

Я не нездужаю, нівроку..:

Остановившись, поглядел на отблески, убежавшие по полу от раскалённой печи. И писал дальше, не останавливаясь:

Я не нездужаю, нівроку,  
А щось такеє бачить око,  
І серце жде чогось. Болить,  
Болить, і плаче, і не спить,  
Мов негодована дитина.  
Лихої, тяжкої години,  
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди!  
Не жди сподіваної волі —  
Вона заснула: цар Микола  
Її приспав. А щоб збудить  
Хиренну волю, треба миром,  
Громадою обух сталить,  
Та добре вигострить сокиру,  
Та й заходиться вже будить.  
А то проспить собі, небога,  
До суду божого страшного!  
А панство буде колихать,  
Храми, палати мурувать,  
Любить царя свого п'яного,  
Та візантійство прославлять,  
Та й більше, бачиться, нічого...

---

<sup>1</sup> Я, чтоб не сглазить, не хвораю, но за собою замечаю, что плачет сердце у меня, как бы голодное дитя. Как бы дитя оно рыдает. Чего же сердце ожидает? Беды? Другого и не жди, не ожидай желанной воли — она заснула. Царь Микола приспал ее. Чтоб разбудить больную волю поскорее, — обух придётся закалить и

И приписал ниже: «1858, 22 ноября»\*.

Это было его первое стихотворение, написанное после большого перерыва в работе.

Положив руки на бумагу, повторял только что написанные слова, волнуясь, проверяя их на слух.

Кто-то затопал по лестнице.

Шевченко сошёл вниз, в мастерскую, открыл дверь. На пороге оказался — тьфу, в такую минуту! — помощник академического полицмейстера, непременно́й господин Соколов.

— Я, простите, поздненько потревожил.

— Пожалуйста.

— Что за люди ночуют у вас?

— Мои люди. То есть... родственники мои!

— Надо явить паспорта. А то ходят к вам всякие...

Вдруг в комнате грянул оглушительный выстрел. Соколов вздрогнул. В печи затрещало большое полено, выбросив из поддувала снопы искр.

## 60

Дети заснули. В доме тихо. И холодно:

На конторке горит свеча. Тучки папиросного дыма клубятся над пламенем.

В соседней комнате чуть слышно зазвенел стакан. О тонкое стекло серебряная ложка звякнула, пропела, и снова тишина. В этом звуке, в детских игрушках, брошенных на ковре кабинета, в

---

наточить топор острее — и волю миром всем будить. Не то, быть может, так случится — до страшного суда заспится. Помогут баре крепко спать и станут храмы воздвигать, царя хмельного славить будут и византийство прославлять, и больше ничего покуда...

большом пиветке у окна — во всём чувствовалась рука хозяйки.

Вот она, красавица, Ольга Сократовна, как и в прошлый его визит, сама принесёт им пахучий крепкий чай, и можно будет погреть ладони на горячем стакане. Кутаясь в большой пуховый платок, она снова легко заберётся с ногами в глубокое кресло и притаится там, не то дремля, не то прислушиваясь к тихому смеху своего Николенки, к беседе с его гостем, длинноусым господином, смущённо приглаживающим непослушные вихры по краям большой лысины.

Чай будет пить Шевченко с детской хитростью, медленно, чтобы подольше побыть у Чернышевских. Но чай остынет, и всё-таки придётся уходить во-свояси, в одинокую — чорт бы её побрал! — в пустую академическую келью.

Чернышевский, боком усевшись на скрипящем стуле, часто протирает очки. Он скрывает этим своё смущение. Оба ещё не привыкли друг к другу.

Тарас Григорьевич в молодом журналисте чувствует старшего, что ли, человека, у которого надо бы чему-то научиться. Кажется, всё он знает — что у тебя во лбу и в сердце. Знает! И какое-то непреодолимое обаяние влечёт к нему.

— Как быть, Тарас Григорьевич? Как в данном случае писать? Надо учиться всегда и всюду искать правильного взгляда на мир. И вот, в статье этой мне надобно — без промахов! — бить наших противников каждым словом... — Николай Гаврилович, глубоко затянувшись, бросил папиросу.

Что он говорит? Просит помочь?

Это неожиданно. Шевченко старается изложить Чернышевскому свой взгляд на затянувшееся «освобождение», рассказывает про земля-

ков, давеча гостивших у него, о новых своих стихах, и читает их напамять, повторяет ещё раз, чтобы Чернышевский мог разобраться в оттенках малознакомого языка, переводит отдельные трудные слова: «нівроку», «сподівана воля»... — и не может понять, почему Чернышевский часто оттирает пот на лбу, чем он взволнован, почему зажигает от свечи папиросу за папиросой и бросает, не докуривши; почему торопливо побежал по комнате, заваленной книгами, рукописями, корректурами, тесной для него, заходил из угла в угол... Никто из друзей и приятелей, кому Шевченко решился было прочесть новые стихи, никто не сказал ему ни слова. Кулиш только пожал плечами, вздохнул и объяснил, что, во всяком случае, всё это не касается украинских крепостных, которым живётся в богатом краю, на Украине, в его Мотроновке, например, совсем не так уже плохо, чтобы следовало их призывать к страшному кровопролитию. И Кулиш рассуждал долго, ему хотелось запутать свои мысли и не говорить вполне ясно...

— Вы говорите, Кулиш не понял вашего призыва? — спросил Чернышевский. — Так ли? А быть может, ваши слова не на пользу той партии, той политической группе, тому общественному положению, которое он представляет! Доморощенный философ! Малорусские пань, говорят, не враги своему народу? Неужели ваши земляки, Тарас Григорьевич, до сих пор не видят, что и малорусский, и польский пань стоят на одной стороне, имеют одни и те же интересы, а малорусские, русские и польские поселяне тоже имеют совершенно одинаковую судьбу. Я верю в народ. И ваш призыв, Тарас, ваш призыв к расплате — «Не жди сподіваної волі» —



пусть пойдёт среди простолюдинов по всей Руси, по всей Руси!.. Её зовите «добре вигострить сокиру», её зовите к топору! Ожидаемая крестьянская реформа может оказаться просто мерзостью! Я скоро буду писать особую, особую статью о Малороссии, об интересах панов и поселян и докажу, что никакие голословные возражения не поколеблют нашего мнения. Не опровергать наши слова мы посоветуем, не опровергать, а призадуматься над ними, проверить их фактами...

Тарас Григорьевич слушает звонкий и порою несколько резкий голос Чернышевского, одобрительно глядит на развязавшийся узел галстука, на сияющие в тени глаза.

— ...Призадуматься, проверить, да-с, и факты подтвердят, потому что, напишу я, потому что Шевченко чрезвычайно хорошо знает быт малорусского народа, знает, в чём жизнь и счастье его простолюдинов! Что? Цензура? Буду писать иносказаниями; когда мне запрещали писать о крепостных, я писал о положении негров...

Оба молчали. Им приятно было вдвоём, здесь, дома, дома, а не в какой-нибудь редакции, в салоне, на балу; Шевченко замечал мешковатость собеседника, подобную его собственной, просторный сюртук, ощупывал расходящиеся полы своего старенького пиджака. Дивился сочетанию застенчивости и — резкости суждений; ироническому взгляду, «ехидству языка» и — удивительно мягким манерам Николая Гавриловича, манерам, которые противники называли почему-то «бурсацкими».

Пожилая горничная тихо вошла и подала чай; запахи корицы, домашнего печения влетели за ней. Тарас был разочарован, ничего не спросил у Чернышевского, но тот понял:

— Супруга? Ольга Сократовна? Уехала в театр. Она — вполне свободна! Убеждения мои не позволяют иначе...

— Убеждения? — прервал Тарас. — В убеждениях — жизнь! Но семья...

— Да! Я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют ещё всего в жизни, потребности сердца существуют, да-с; и в жизни сердца — истинное горе и истинная радость каждого из нас. Поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли; лично для меня — первая привлекательнее последней. Но убеждение моё я знаю и помню всегда: каждый обязан сделать всё, что может, никак не меньше! Ещё до моего предложения, в Саратове, я говорил Ольге Сократовне, что не уверен — долго ли буду пользоваться жизнью и свободой, что я не могу отказаться от своего образа мыслей, потому что он лежит в моём характере, ожесточённом и недоброльном ничем, что я вижу кругом себя... Нужна только искра, — говорил я, — и у нас будет бунт, а если он будет, я пойду непременно со всеми. Меня не пугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьём, ни резня! И, я думаю, у меня лично может повториться то же, что было уже в нашей жизни, Тарас Григорьевич! Меня ждёт ещё и каторга и, может, эшафот, я это знаю, и я не боюсь ничего. Я только теперь никому не говорю о таких вещах, даже ей, я знаю свою судьбу!

Чернышевский дышал тяжело. Не было в его взгляде ни кротости, ни покорности судьбе, он сам свою судьбу направлял по трудному пути.

Большое упорство помогало овладеть собою. Он жаден был к житейским радостям. И всё-таки уходил от них, увлечённый своей работой.

Он любил жену и почти никогда не бывал с нею. Тянуло его в поле, на реку, в лес, — а жить приходилось взаперти, в кабинете, в библиотеках, в редакции «Современника». Он выходил на прогулку, шёл в Летний сад, но останавливался у недостроенной часовни — поговорить с каменщиками, или объяснял на Неве перевозчику, почему в России так трудно живётся. Множество людей приходило к нему — сотрудники и просто любопытные, военные, государственные деятели, художники, учёные, писатели, ремесленники, друзья и враги. Хотелось иногда побеседовать мирно, посмеяться. Весёлый и заразительный смех Чернышевского переходил порою в сарказм; Николай Гаврилович разил противников, доказывал, убеждал, — беседа превращалась в спор.

— Мне всегда помогает глубокая вера в себя.

Снял очки, и глаза потемнели.

Чай остывал на столе.

Тарас Григорьевич зачем-то поднял с ковра забытую там игрушку, большого плюшевого пса, погладил его, пощекотал за ушами. И сказал:

— А всё-таки вы, Николай Гаврилович, счастливейший из смертных.

Чернышевский снова понял без объяснений:

— Я своих мальчишек, — тихо сказал он, — почти никогда не вижу: мне очень некогда.

Они, со свечой, прошли в детскую. На полу, валялись тёплые полосатые чулочки. Сашенька, разбросав руки, спал поперёк широкой кровати. От света свечи, сонный, заслонился лошадкой и повернулся на другой бочок; в колыбельке рядом мирно сопел двухмесячный Мишка.

Говорили шопотом.

— Я почему-то, Николай Гаврилович, вспомнил сейчас незначительный, нелепый случай. Совсем

нелепый. В музее археологии видел я куски старинного кирпича девятисотлетней давности, времён Киевской Руси, серые плоские плитки... Кирпич делался, очевидно, из сырой глины, потому что на одном из них остался, окаменел размазанный след лапы какого-то зверька. Но на другом, на другом, Николай Гаврилович, совершенно чётко отпечаталась ножонка малого дитяти, лет полутора — живая, настоящая ножка, поставленная вот так, найскосок, будто ребёнок, бегая и резвясь, нечаянно встал на сырую, ещё необожжённую глину — совсем, совсем недавно, вчера, позавчера... Я расстроился, простоял в музее до самого часа закрытия, не мог уйти, даже сам не понимая — почему, почему? Быть может, взволновало меня, взволновало то, что следы давно ушедших поколений я видел дотопе в ржавом оружии, в разбитых вазах, в истлевших остатках одежды, в мёртвых костях, но здесь, здесь был передо мною глубоко вдавненный отпечаток, след живого тельца, подошва ребячьей ноги, с трогательно кривыми пальчиками, с широкой пяткой... Я, знаете, человек старый, чёрствый...

В передней послышался звонок, голоса прислуги, и Тарас замолчал. По манере звонить Чернышевский узнал её. Возвратилась из театра Ольга Сократовна. Шевченко стал прощаться.

Когда выходили, он услышал голос хозяйки дома, затем через дверь увидел её, прекрасную, в лиловом шёлковом платье, с цветами в чёрных волосах.

Было поздно. На Петербургской стороне гасли уже во мраке фонари. На северной части неба вдруг вспыхнули яркие сполохи, далёкие отблески полярного сияния, и затрепетали в ожившихся небесах, меняя краски и очертания.

— Да-с!

Николай Гаврилович постоял, поглядел на небо, поглядел Тарасу вслед, затем возвратился домой и встал у конторки. Попробовал вспомнить стихи: «і сердце жде чогось, болить...» — не вспомнил и взялся за перо. Надо было кончать работу.

«...Каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время...»

С улицы был виден свет в окне его кабинета. До самого утра.

А наблюдавший за домом секретный агент полиции, — в который уж раз, — доносил на следующий день, что «литератор Николай Гаврилович Чернышевский бывает почти постоянно дома и спит не более двух-трёх часов в сутки...»

## 61

Айра Олдридж и Тарас Шевченко навещали друг друга, бывало, и по два раза в день.

Поэт, недоверчивый к новым людям и осторожный со старыми приятелями, весь отдался неожиданной дружбе.

Слушал рассказы Айры о сыне, о жене — и завидовал.

Говорил актёру о предчувствиях, томивших его; казалось, будто неведомый недуг таится в груди; не дожить, пожалуй, и до заветного дня, когда придёт хоть жалкое подобие воли!

Негр старался утешить. Тарас вынимал из обшитой сафьяном старинной шкатулки своё последнее стихотворение.

— Втолкните вы ему, ради господ бога, — просил он Катеньку, — постарайтесь. — И читал

стихи, а Катенька, обескураженная страшными словами, переводила несколько раз, пока Олдридж не понял всё как-то по-своему.

— У англичан, — сказал он, — есть поговорка: бешеной, мол, собаке хвост надо рубить по самые уши... то есть с головой вместе! Это хорошо. Но ведь господь бог призывает нас к братству. А ты — к окровавленному тэпору? Ты — поэт! Ты должен разить не топором, не кинжалом, а словом, острым, как кинжал. Я помню в «Гамлете»: «I will speak daggers to her, but use none»<sup>1</sup>.

— Ты просто, — улыбаясь, отвечал ему в тон Тарас, — ты просто, как говорит твоя же старая знакомая, леди Макбет, просто «переполнен мо-локэм человеколюбия»... А я...

Начинался непонятный Катеньке спор, который так и не кончался ничем.

Олдридж, придя в Академию, первым делом заглядывал к Толстым — приветствовать графа и графиню, затем поднимался с девочками наверх к поэту.

Даже когда Тарас Григорьевич начал работать над портретом Олдриджа, дочери Фёдора Толстого присутствовали непременно. Девочки забирались на диван. Хозяин приносил плед, укутывал им ноги, затем начинал работу.

Айра, красноречивый друг, сидел тихо. Тарас, рисуя, заметно волновался. Всякий раз стирал и сердился — на себя, на Олдриджа, на детей. Шли бы себе домой!

Рисовал молча. Вот так! Так! Но вскоре, раздосадованный, останавливался и укоризненно

---

<sup>1</sup> «Я хочу говорить с нею кинжалами, но не поражать ими». (Непереводимо: «говорить кинжалами» значит по-английски — вообще «злобно говорить».)

смотрел на оригинал. Живая натура Олдриджа не выносила неподвижности.

Он начинал подмигивать. Смешливая Оля прыгала на диване, исподтишка подталкивала сестру, боязливо глядела на взъерошенные усы сердитого Шевченко. Олдридж корчил страшные гримасы, улыбался и вдруг, под сердитым взглядом Тараса, принимал испуганно-комический вид и затихал. Снова сидел неподвижно, хоть его и тянуло поглядеть, что там получается у Тараса на жёлтом картоне.

Художник работал сосредоточенно и сердито. Становилось тихо. Трещали в печи сырые поленья. И вдруг, обращаясь к Тарасу, актёр спрашивал что-то. Тарас глядел на девочек, и они, перебивая друг дружку, спешили перевести:

— А петь можно?

— Да ну его, пусть поёт! Скажите ему. Вот ещё несчастье на мою голову!

И снова хватал уголь, брался за мел, прислушиваясь к негритянским мелодиям.

Меланхолическая песня убаюкивала девочек. Катя закрывала голубые глаза, подвижные ноздри дрожали от удовольствия.

Мел крошился в руке. Уголь падал на пол, расцвеченный яркими брызгами масляных красок. Шевченко брал другой. Слушал. То была уже знакомая песня о дружбе.

Айра, без паузы, переходил к старинным английским романсам, затем снова возвращался к родным мелодиям и, ускоряя темп, пел так весело, что сам не мог усидеть на месте и пускался в пляс.

— Этим песням, — кричал Айра, — аккомпанируют у нас на такой... как бы это назвать... на очень примитивной гитаре. А струны её натянуты на змеиной шкуре! Страшно?

Вскакивал и Тарас, бормотал только: «Ишь, чортов сын!»

В мастерскую входил тихонько старый солдат. Пристраивался в углу, слушал, смотрел на Олдриджа, сидел неподвижно, стараясь не звякать медалями.

62

Голос графа Адлерберга доносился из-за расписных стеклянных ширм. Было шесть часов утра.

Камердинер его сиятельства, устроитель любовных делишек графа, известный всему Питеру Пётр Иванович, распорядился церемонией приёма посетителей. Все, кто был допущен в туалетную, прислушивались к звонким всплескам воды, к голосу, отменно вежливому и строгому, и старались угадать сегодняшнее настроение министра.

Граф Адлерберг, Владимир Фёдорович\*, по давнему обычаю своему, садился спозаранку в ароматическую ванну. Было на дворе ещё темно, и отражение свеч падало в ярко-зелёную воду.

Владимир Фёдорович был ещё без парика, с ненафабранными усами и бакенбардами, с неподрумяненными щеками, — и, выйдя он до окончания туалета, лысый и серенький, никто не признал бы в нём грозного вельможу, министра двора его императорского величества!

Секретарь министерства докладывал:

— ...Просят о высочайшем соизволении...

— Что-что? Подряд на ремонт дворца великой княгини? Оставить без внимания: подряд сдан. Дальше! — А сам думал: «Как она



там сегодня, Мина Ивановна? Поскорее бы к ней!»

— ...Снова с проектом Общества для пособия нуждающимся литераторам и учёным — «Литературно-учёного фонда».

— Как? Опять? Отложить особо... — И думал: «Чорт бы их всех... Недаром государь сказал вчера: всякий писатель — природный враг правительства... А Тургенев? Что Тургенев? Прекраснейший человек? То есть, насколько литератор может быть прекрасным человеком...» — Дальше!

— Бывший пианист его величества короля прусского Антоний Контский и другие с ним просят о продлении дебютов африканского трагика Айры Олдриджа.

— Чорт знает что! Запишите: «Передать директору театров. А вообще — подавать подобные коллективные просьбы не допускается. Дирекция действует по своим расчётам и выгодам, а не по просьбам частных лиц...» — И думал: «Недаром Мине Ивановне давеча снился арап... ехал на белой кобыле...»

Посетители и просители, ожидавшие по ту сторону ширм, заволновались. Дел у министерского секретаря оказывалось множество; время, положенное на туалет, истекало, а его сиятельство за последние недели в министерстве не принимал никого, все знали, что граф сразу же уедет, что спешит он к Мине Ивановне, последнему предмету его страсти. Мина Ивановна — мадам Буркова, женщина, как говорится, из самого низкого разряда камелий — могла всеми повелевать, казнить и миловать, приказывая самому графу, министру двора! Мина Ивановна теперь выздоравливала после холеры, и весь петербургский свет следил за ходом её болезни.

— Передать графине Марье Васильевне, что к обеду дома не буду! Передать молодому графу вот этот пакет!

Граф преобразился. Корсет подпирал грудь, украшенную лентами и алмазными знаками ордена Андрея Первозванного, Александра Невского и святого Владимира. Граф выпрямился, выпятил грудь, легко и проворно, молодецким шагом вышел из-за ширм и направился к начальникам департаментов, к каким-то генералам и придворным, и со всеми был отменно вежлив.

— Устав театрального комитета? Как же! Прочёл. Доволен. Только не знаю — зачем? У нас теперь, мой дорогой профессор, так мало драматических талантов, а в литературе, ваше превосходительство, должен вам заметить, господствуют не совсем хорошие стремления. Государь знает это. Прогресс? Да вы что?! Государь недавно запретил употреблять сие слово!

Граф сказал профессору ещё что-то такое о шаткости общественного мнения и обратился с вопросом к ожидавшему в туалетной чиновнику, следователю по особым делам, и, не обращая внимания на прочих, проворно заскользил к кабинету. Секретарь еле поспевал за ним.

Усевшись в кресло, под портретами государей, оправленными в украшенные алмазами рамы, потягивался, слушал секретаря и снова бессвязно думал о своём... Таращил не по-стариковски зоркие глаза на последние листы календаря. Кончался трудный и неприятный год. Комитеты! комиссии! пересмотры! общества! клубы!.. В этом проклятом году чуть не погибла от холеры Мина Ивановна. В Царском Селе, при переделке дворца, в одной из комнат наследника нашли под полом скелет женщины с бриллиантовой серьгой, вдетой когда-то в ухо. И не то дурно,

что нашли, а то, что слухи об этом распространяются всюду. Некому сдерживать. Цензура работает плохо. Полиция тоже. Беспорядки в университетах, даже в Духовной академии. Где-то там было восстание ингушей. Всюду пожары. Голод и крестьянские волнения в Подольской, Петербургской, Самарской... в Саратовской, Нижегородской, Тульской, — да не во всех ли губерниях? В народе толки. В небе комета. И сколько огорчений от одного «Колокола». Надо вести розыск: как этому Герцену достались официальные бумаги? Государь недоволен. Да ещё кто-то пустил по городу слух, что царь на-днях громко спрашивал у него, у Адлерберга, и у других приближённых, — нет ли у кого «Колокола», давно, мол, его не читал. Покамест... удалось добиться запрещения продажи лондонских русских изданий в одном только Риме. Ну и, само собою, во Франции. Надо бы поучиться у Наполеона Третьего: всюду у него образцовая полиция, цензура — bureau de la presse, надзор. Париж! А наши-то сановники, вместо дела, думают, как бы сократить балетную труппу с двухсот двадцати балерин до ста пятидесяти, как в Париже! А зачем? Зачем сокращать?

Секретарь продолжал:

— И ещё, ваше высокопревосходительство, новая просьба о том же Олдридже. И с прибавлением, что «выгода императорских театров будет соблюдена, что мы — не только поклонники таланта, но и подписчики на новую серию спектаклей африканского трагика...» И ещё просят: отменить запрещение обер-полицейстера на пьесу Шекспира «Макбет»...

Граф брезгливо поморщился:

— А к сему прошению, ваше высокопревосходительство, пять листов подписей. И, смею по-

лагать, в таком множестве — самая главная дерзость.

— Пять листов? Кто подписал? Графиня Толстая? Князь Шаховской? Лорис-Меликов? Академик Ухгомский? Это какой? Художник? Какой-то артист Стуколкин! Узнать, если из императорских театров, — выгнать, выгнать, выгнать! И еще артисты?.. Всех выгнать! Что? Очень известные? Всё равно! А это? Опять, опять, конечно, тот самый Шевченко! — И граф бормотал про себя: — Говорил же государю, нельзя таких пускать в столицу, нельзя, нельзя, нельзя! Не послушал меня, старика!

Адлерберг крикнул:

— Перо!

Старик злился.

— Подать карету! — снова крикнул и, брызгая чернилами, заскрипел пером. И вслух повторял слово за словом: — «Что за вздор такой! Если бы я и хотел сам собою продолжить представления Олдриджа...» И подумал: «Только неприятности с этими неграми».

Перечитав ещё раз начало резолюции, Владимир Фёдорович снова писал: «Если бы я и хотел сам собою продолжить представления Олдриджа, то эту мысль оставил бы единственно потому, что об этом коллективно подписчики просят. Если однажды допустить уважение к подобным просьбам, то, бог знает, о чём будут просить и настаивать таким образом. Оставить без внимания!

*Адлерберг».*

Губы Владимира Фёдоровича посерели — сжевал румяна. Граф бросил перо, и оно, лёгкое, лебединое, плавно полетело над столом. На столе, рядом с раскрытыми томиками Шато-

бриана и Шенье, лежала книжка: «Предостережение от увлечения духом настоящего времени»... Как ни странно, «Предостережение» не помогало, он любил стихи, любил читать Ламартина, им же самим запрещённого.

— Карета готова?

И снова вспомнил рассказ Мины: сон в руку. «Схватил мерзкий арап сундучок с ассигнациями, вскочил на белого коня, а на гриве — следы его чёрных лап... Вскочил без седла, задом-наперёд — и через Дворцовый мост, через Дворцовый мост, Владимир Фёдорович, галопом поскакал на Васильевский, к графине Настасье Ивановне Толстой. Но мост разводили в ту пору, и упал в воду большой фонарь, а негра тоже не стало».

Адлерберг крикнул:

— Призвать ко мне графа Фёдора Толстого! Завтра в шесть, в туалетную! — Но, немножко подумав, сказал: — Нет, не в шесть, а когда вздумает... Или, впрочем, не зовите его совсем.

Графа Фёдора министр немного побаивался.

## 63

Настали катины именины. Девочке исполнилось пятнадцать лет. День ангела всегда был днём сюрпризов. Ещё утром, раскрыв глаза, увидела на столике, подле постели, цветы. Выбежала в залу и ахнула. Огромная комната превратилась в зимний сад. В одном из окон красовался вензель «ЕФТ» — первые буквы её имени; отец и его добрые друзья трудились над сюрпризом всю ночь.

Катя поспешила к графу в кабинет, в волшебный мир...

Всякий раз входила сюда, будто впервые, глаза разбегались.

Граф, бывший моряк, хранил в кабинете модель военного корабля: словно только что заплыл сюда через окно из Невы стройный корвет.

На библиотечных шкафах стояли гипсовые слепки работ самого графа, барона Клодта и других скульпторов. В простенках между шкафами пестрели коллекции бабочек и насекомых. На длинных столах — редкостные монеты, мозаика, стеклянная и терракотовая посуда, мраморные и бронзовые статуэтки, чучела. И над всем этим — большая фигура рыцаря. Было много механических игрушек, сделанных руками самого графа, медали его работы, инструменты, неоконченные скульптуры...

Когда вошла Катенька, Толстой сидел за небольшим сосновым столиком, в любимом ватном халате, потёртом и рваном, с трубкой в зубах: на столе стоял недопитый стакан чая. Видно было, что граф работает давно. Вставал он задолго до рассвета, да иначе ему нехватило бы времени. Толстой был профессором по дзум предметам, руководил всеми делами Академии, заведывал академической фабрикой мозаики. Граф слыл ещё и хорошим математиком, механиком, сам делал нужные для работы инструменты и не терпел в своих делах никаких помощников.

Толстой обернулся на лёгкие шаги, — поздравил девочку, передал ей несколько книг — сегодняшний подарок, спросил о чём-то и снова углубился в работу, сказав, что к обеду придёт позже.

Катя пошла с мамой и Оленькой.

В церкви ощущалась торжественная приподнятость. В Академии был престольный праздник. Но Кате трудно было устоять на месте. От ра-

дости, переполнявшей её, от всеобщего внимания хотелось петь, бегать, обнимать всех. День складывался чудесно.

После обедни зашла, — иначе и быть не могло, — к другу своему, Тарасу Григорьевичу, пригласить на бал.

— Серденько! Поздравляю вас. Только вы меня извините, малость опоздаю.

— Приходите пораньше.

— Ваську я разыскал. Говорил с его господином. Добился разрешения ходить ему на уроки. Барин-то должен понимать: если паренёк чему-нибудь научится, будет оброк платить.

— Как я рада! Как я рада! Ещё один приятный сюрприз.

— Я сегодня хочу зайти с пареньком к барону Клодту. Попрошу, чтобы помог.

— Он добрый\*.

— Может быть, серденько, может быть..

...Начинались танцы. Со взрослыми Катя танцевала второй раз в жизни.

Видя её счастливое личико, каждый хотел вальсировать именно с ней. А когда в фигуре мазурки кавалеры, хлопая в ладоши, начинали друг у друга отбивать молодую графиню, в соревнование вмешался сам Толстой и до конца танцевал с дочерью. Все удивлялись его живости и лёгкости. Катя порхала по зале, покраснелась, запыхалась, глаза сверкали. Присев отдохнуть, девочка стала озираться. То ли усталость взяла своё, то ли ещё что, — она вспомнила, что не видала ещё Тараса.

Прошлась по комнатам, но его нигде не было.

Повсюду шумели гости. Громко приветствовали именинницу. В одной из гостиных Олдридж пел под аккомпанемент Антония Контского. Тут же, в углу, Старов излагал пе-

ред девицами свои взгляды на идеальную женщину.

Из соседней комнаты слышен был голос Щербины:

Много ль морей облетела ты, белая лебедь,  
Много ль корвет и фелук ты видала на море?  
Чёрный корабль я видала под флагом багровым,  
Стал он на якорь от нашего берега близко...

За столом в коричневой гостиной Катя нашла барона. Клодт сидел хмурый и злой. Рядом пристроился Кулиш и что-то горячо доказывал скульптору. Барон морщился от каждого его слова.

Катя подошла ближе.

— Шевченко, — говорил Кулиш, — это в нашей истории явление экстраординарное, это гений народа нашего...

— Пётр Карлович, — начала Катенька, — простите...

— А-а, именинница! — поднялся Клодт. — Поздравляю, Екатерина Фёдоровна. А я вот только вошёл сюда.

— Тараса Григорьевича не видели?

— Да что это вы с ним, — усмехнулся барон, — со всех сторон на меня? Он-то меня и дома задержал. И, представьте себе, графиня, привёл ко мне какого-то, простите, кучера. И думал, что я должен, должен встретить его, как...? Только потому, что беспокойный юноша в своей конюшне, от нечего делать, начал резать из дерева каких-то болванчиков. И неужели не понимает ваш милый и смешной Шевченко... Но что с вами, графиня? Вам неприятна такая...

— Вы злы! — выкрикнула Катя, и что осталось от её светской сдержанности, которую



всегда старалась привить ей Анастасия Ивановна.

Катя убежала, забившись на любимую с детства пустынную площадку на лестнице, спряталась от гостей.

Тётя, Екатерина Ивановна, зная, где искать её, пожурила любимицу свою, а затем объявила гостям, что именинница устала и пошла спать.

— Не надо ей было столько танцевать, — с укором заметила сестре графиня. И обратилась к гостям: — Прошу, господа, к столу!

## 64

Тарас постучался. За дверью номера, — было это в Знаменской гостинице, — звучала тихая и странная музыка с меняющимся ритмом. Тарас послушал, затем постучал ещё раз, музыка ему понравилась. «Странно играет этот Айра...»

Но Олдриджа дома не было. Дверь открыл одетый в красный фрак старичок, суфлёр из немецкой труппы... Как он сюда попал? Этот человек ещё совсем недавно боялся подступиться к негру.

— Дома господин Олдридж?

— Нет, ваше высокоблагородие.

— Да какое я вам благородие! — рассердился Тарас. — Я подожду.

— Как вам угодно, ваше благородие. Вы художник. Я знаю вас, ваше бла... И уважаю.

Суфлёр кланялся.

— А почему это вы так странно разговариваете?

— То есть... Собственно как, позвольте спросить?

— Слишком вежливо. Будто боитесь всего на свете.

— Боюсь? Да, ясное дело, боюсь, ваше высокоблагородие! Я столько узнал в жизни. Был актёром, и довольно известным, был музыкантом, мечтал о придворной капелле, сшил даже фрак, видите, красный; учился за границами... А теперь я — и не лентяй, и не пьяница — сижу в подпольи, в суфлёрской будке, и на жизнь, можно сказать, гляжу и удивляюсь — оттуда, снизу... Пред глазами мелькают только ноги лицедеёв — ноги, ноги! Вот мне и приходится, ваше благородие, бояться, оглядываться, как бы кто не пнул! Я ведь крепостной, на оброке, мерзкий раб.

Старик замолк и взялся за оставленную было работу. Перебирал театральный гардероб трагика. Тут были старые, штопанные трико, мантии, кафтаны, кирасы. Шёлк, затканый цветами, шуршал в его руках, пена кружев текла по пальцам. Костюмов Айры старик касался бережно и почтительно.

— Вы философ, — сказал задумчиво Тарас.

— Чего изволите? Философ? Мы всю жизнь читаем Шекспира. И то — шопотом, потихоньку. А это заставляет вдумываться в слова... А жизнь наша идёт — где прыжком, где бочком, где ползком.

Тарас поморщился.

— И что это такое? — продолжал суфлёр, тыча иглой в алую мантию Отелло. — Зашиваю перед каждым спектаклем, и всякий раз опять разорвана...

Тарас не слушал его, занятый своими мыслями. Неожиданно пришёл Олдридж, радостный и

возбуждённый. В руке он держал конверт. Горячо обнял Тараса, сказал что-то. Тарас не понял.

Тогда актёр — умора! — схватил какое-то кружево, прижал к себе, поглядел на него нежно, замурлыкал песенку, и Тарас увидел: Олдридж держит на руках ребёнка, целует, играет с ним... Такое счастье осенило его чёрное лицо, так выразителен был каждый жест, что Тарас понял: письмо от сына, от жены. Айра изображал своего белокурого мальчишку. Без единого слова показывал его рост и внешность, светлое лицо, даже голос. Он тосковал, и рассказ о сыне облегчил его. Видел, что веки у Тараса дрогнули, прижал его к сердцу, чтобы не смотреть в глаза.

Невольню у Тараса вырвалось:

— Мечта моя мне душу гложет...

Айра взглянул на него и как-то по-своему понял.

— Счастье? В Англии сравнивают его с живым аппетитным поросёночком, которому колечко хвоста натёрли салом. Голодные люди пытаются ухватиться за этот хвост, но кому же посчастливится?—Затем обратился к суфлёру:— Переведите!

Поэт посмотрел удивлённо на новоявленного драгомана и с интересом выслушал перевод.

— Скажите ему, — начал Тарас, — скажите ему, что про это самое счастье и у нас говорят, что «воно не кінь, його не загнудати...» Но у русского поэта Крылова лучше сказано, лучше, вот: «Слепое счастье, шатаясь меж людей, не вечно у вельмож гостит и у царей, оно и в хижине твоей, быть может, погостить когда-нибудь пристанет».

Олдридж задумался.

— Ты хочешь сказать, — спросил он, — что никогда не теряешь надежды?

— Никогда, Айра! «Куди б чайка не літала, до шуліки попадала...»<sup>1</sup> Это правда! А всё-таки, без мечты, без надежды на что-то, чего сердце ждёт, ждёт, ожидает, не пройти бы мне столько мук.

В дверь постучали. Вошёл Гулак-Артемовский.

— Вот тебя-то мне и надо! Иду сейчас по Невскому — вдруг кто-то меня за полу. Смотрю — Васька. «Где Тараса Григорьевича искать?» — «Да я сам, — говорю, — никак не найду. В Академии был?» — «Нет его там». — «Ну, так пойдём, — говорю, — ещё в одно место».

— А что ему надо? — встревожился Шевченко.

— Просит зайти сейчас к Болотову. Барин завтра надолго уезжает, вот Васька и просит...

— Пойдём.

## 65

Улица, на которой жил Болотов, была грязновата и называлась «Андрей Петрович». Тут, как и по всему городу, парижской нумерации домов ещё не было, и пришлось искать, читая надписи на жёлтых дощечках, прибитых над воротами. Здесь простирались владения помещиков, negociантов, придворных арапов его величества\*, чиновников — в чинах от коллежского регистратора до статского советника.

Навстречу шло стадо гусей — совсем как на далёких линиях Васильевского, где-нибудь у Галерной гавани. Тарас загляделся, как гуси щиплют остатки пожухлой под снегом травы, и

---

<sup>1</sup> Куда б чайка ни летала, всё к коршуну попадала (пословица).

захотелось куда-нибудь на луг, на простор, подальше от города.

Разговор с Болотовым был короткий: платить деньги за новую крепостную только для того, чтобы выдать её за конюха? Ваську он продаст, но цена будет большая, парень способный... А покупать — нет, нет! Да и кто теперь без особой нужды покупает людей, когда не сегодня-завтра... Нет! Это не кони!

На том и расстались.

Борлакивские жили по соседству. Артемовский и Шевченко пошли к ним.

Ганна Гавриловна собиралась обедать. Суетились лакеи. Марина, смущённая чем-то, вышла на минуту и больше не появлялась. Барыня объяснила, что девушка нездорова.

— Мы пришли её сватать, — сказал Тарас.

Такой прямоты Борлакивская не ждала, даже растерялась.

Позвала Грицька Митрофановича и приказала слугам торопиться с обедом.

Тарас не выпил ни капли. Никакие уговоры не помогли.

Обедали в напряжённом молчании. Когда подавали суп, Шевченко спросил:

— Ну, как же? Или сватовство надо начинать с «порошами» и «куницами», по обряду?

— Обойдётся, — сказала Борлакивская. Муж её кашлянул: вот оно, мол, начинается!

Ганна Гавриловна спросила:

— Ну, что это вы надумали? Девка неряшлива, легкомысленна — с лакеями путается, я вам скажу. Малограмотна. Мы подыскали бы... Словом, не пара!

— Не пара? Мне? Возможно... Я, Ганна Гавриловна, не для себя.

Борлакивская даже с места привстала. Что такое? Всё получалось навыворот. Да и Кулиш, как нарочно, не шёл.

— Про кого же вы говорите?

— Я говорю про Марину. Она полюбила молодого паренька...

Шевченко старался держаться спокойно, но ложка задрожала в руках, звякнула о тарелку, и он положил её.

— Он крепостной. Чтобы поженить их, надо парня купить, не иначе. Барин продать согласен.

— Что за пан?

— Ваш сосед, Болотов.

— Вы говорите о том сопливом конюхе?

— Да. О конюхе! Барон Клодт сказал о нём...

— Благодарю вас! Ваши фантазии, а наши деньги? Я бы купила болотовского повара Спиридона. О, да! Он готовит такие божественные супы, что — ах! А соусы! Но, скажите на милость — зачем покупать конюха? У меня своих девать некуда.

— Мы, может, среди знакомых насобираем денег и выкупим его на волю, — вставил Семён Артемовский.

— Сделайте одолжение.

— А Марину отпустите?

— Никогда! Слышите? Я, конечно, очень уважаю вас, Тарас Григорьевич, но вы, простите, в такие суётесь дела, что даже странно. Очень странно! — И, спохватившись, добавила вежливо: — Суп простынет, возьмите сухариков.

— Я сыт уже, спасибо.

— Сегодня у нас — путря, гляги, пастрамà. Есть ещё телячий лизень.

— Я сыт.

— Вы, Тарас Григорьевич, напрасно сердитесь. Мы понимаем. Если бы это для вас, я никогда не посмела бы... А то, сами посудите, я дала девке воспитание, кормила, лелеяла, — и на тебе! — отдать за сопливого конюха, которого ещё и выкупить надо, что скотину. А Марыся, когда нет гостей, как дочка у меня. Не прикажете же мне и её супруга, из конюшни, сажать к себе за стол?

— Но речь идёт, — начал Семён, — о чувствах, о счастье двух молодых и красивых людей. В наше время, Ганна Гавриловна, сам бог...

— О чувствах, — отозвался молчаливый Грицько Митрофанович, — о чувствах... Эти холопские чувства встречаются только в пасторальных картинах или ещё в твоей «Катерине», Тарас.

— Что ты хочешь сказать? — грубо закричал Шевченко.

— Какие могут быть у холопа чувства?

— Замолчи! — крикнул Тарас. — Путря ты, кваша! Замолчи, проклятая размазня! — и так ударил кулаком по столу, что две чарки и графин упали на пол.

Засуетилось множество слуг. Тарас поскользнулся, отшвырнул ногой кусок мяса и ушёл одеваться. Семён нерешительно двинулся за ним в переднюю. Он долго не мог попасть в рукав шубы.

Когда выходили, Тарас увидел Марину, замершую у двери, бледную, заплаканную.

Подошёл к ней, взял её голову в руки, заглянул в синие глаза, крепко поцеловал в лоб. Затем в губы. И вышел.

— Прощай!

Сватовство кончилось.

Василий ожидал в каморке у солдата. Рассказывал о сегодняшней встрече с Олдриджем.

— А он такой красивый, как статуя из бронзы... Но ещё горячая. Только отлитая.

— Сам ты статуя!

Солдату хотелось казаться суровым, но не получалось. Когда Тарас пришёл в каморку за ключом, Васька сидел на постели и повторял за стариком странные стишки:

— Придет масляна— будет и блин: единожды один — один. Волга Дону пошире: дважды два—четыре. Днём свет, а ночью темь: трижды девять — двадцать семь.

— Это я, Тарас Григорьевич, парня учу.

— Что же это за грамота?

— Вот те на! Да вы сами-то в солдатах были?

— Ну, был.

— И не слышали? Это же наша солдатская таблица умножения.

— Нет. У нас в батальоне такого не было, — ответил Тарас, ухмыльнулся и пошёл было, чтоб не мешать. Но Васька метнулся за ним:

— Тарас Григорьевич!

— Что, голубе?

— Когда же вы мне «Кобзарь» дадите? — и сразу заговорил о другом: — А... там? Были?

— Да, был, был... Что? Учи, сынку, таблицу, ещё не договорились. — И ушёл.

В коридоре ещё слышен был васькиң голос, повторявший за старым солдатом:

— Кто атаман, у того и булава: четырежды восемь — тридцать два.

В мастерской Тарас облокотился на стол и сидел неподвижно. Под локтем лежала бумажка. Валялась она здесь давненько, всё не хотелось



отсылать. Это было начисто переписанное письмо к Делянову, куратору Петербургского учебного округа\*:

«Получив высочайшее соизволение для проживания в столице, но нуждаясь в дневном пропитании, покорно прошу ваше превосходительство дозволить мне новое издание моих сочинений, напечатанных в царствование почившего в бозе государя императора Николая I, под заглавием «Кобзарь» и «Гайдамаки», которых экземпляр при сем и прилагается.

Так как обе эти книжки составляют библиографическую редкость, то позвольте просить, по миновании в них надобности, возвратить их мне.

*Т. Шевченко».*

Письмо столько дней валялось на столе, что он знал уже его на память. В сердцах смахнул его на пол и наступил ногой.

## 67

Артемовский и Николай Курочкин, замечая, что поэт затосковал, решили его развлечь, и страшная месть, уготованная Семёном Артемовским, свершилась в тот момент, когда Тарас меньше всего её ожидал.

В тот день Шевченко с утра не разлучался с Артемовским, негодовал, возмущаясь унижительной обязанностью: знаменитый артист должен был развозить по домам вельмож и сановников билеты на свои бенефисы; нарушить традицию не решался даже певец с мировой известностью.

Тарас объездил с ним чуть ли не весь город. Побывали они и у одного из секретарей графа

Адлерберга; Шевченко сидел в закрытом экипаже, ждал, пока Семён снесёт билет, и злился. Съездили и к Делянову, куратору, и к какому-то важному чиновнику из цензурного комитета. Посетили канцелярию градоначальника. Пригласил Семён даже какого-то лысого купчика из Апраксина двора.

Вечером, в Большом театре, Тарас Григорьевич занял место во втором ряду кресел и ждал начала спектакля. Николай Курочкин, брат его Василий, Старов — получили места подальше, и Тарас сидел один.

В тот вечер давали «Руслана и Людмилу».

Увертюра, как водится, была испорчена: за-всегдагаи первых рядов, опоздав к началу, ходили между креслами, переговаривались...

Когда Руслан появился на сцене, Шевченко сразу узнал, что поёт не Артемовский, а Петров, первый по времени исполнитель этой роли. Гуляка Семён, очевидно, в последнюю минуту сказался больным. Тарас вспомнил, как он, ещё во время поездок по городу, жаловался на хрипоту.

Петров Тарасу не понравился, и всё, казалось, было не так. Когда в антракте дали свет, Шевченко остался на месте и к приятелям не пошёл. Думал о своём. Но вскоре слух его был поражён неистовым смехом. Хохотали в райке, на балконах, в бельэтаже. Смех спускался ниже и ниже, в партер и ложи. Хохотал уже весь театр.

Что случилось? И только, взглянув на свой ряд кресел, на жирного апраксинского купчика, сидевшего подле него, понял, наконец, злую шутку: весь ряд был заполнен лысыми господами.

Многие появились на своих местах после на-

чала спектакля, и только теперь публика увидела забавное зрелище: ряд сверкающих черепов.

Публика бесновалась. В райке стучали ногами. Хохотал и Тарас, до слёз, до изнеможения, повторяя:

— Вот чортов Семён, вот проклятый... Страшная месть! — и подумал, что Семёну за это обязательно влетит.

К нему подошёл Курочкин:

— Как поживаете, лысый господин?

— Спасибо, ой, спасибо! Удружили, голубчики, старику!.. Развеселили в такую... в такую, Николай, трудную для меня минуту.

Лысые господа поспешно расходились. Начался скандал...

У театрального подъезда ждал Прохор...

Бросился к Тарасу и схватил за рукав. Тарас понял, что случилось неладное.

— Прибегал Васька, — начал солдат. — лица на нём нет. «Что случилось?» — спрашиваю, вижу — неладное задумал, а мне не говорит. Обидно стало... «Идём, говорю, искать твоего Тараса...» — пошли мы, спешили, просто через Неву, по льду. А там — полыньи, бугры. Как перебрались — не знаю.

— Да что же с Васькой-то? Говори!

— Сбежал. Ходили мы с ним к Артемовскому домой, не нашли вас. Пошли к Старову — нет. Пошли к Борлакивским. Приходим, Васька, конечно, к ним во двор не идёт. «Я, говорит, здесь у ворот обожду...» Ну, пока ходил я, узнавал, выхожу, а его и нету. Искал, искал... Ну, вот и пришёл сюда.

— Где же он?

— Не знаю. Думаю, со своей кралей бежать решился.

— Куда?

— В том-то и дело, что никуда не убежишь, да ещё с девкой! Дурак, ведь дурак! И мне ничего не сказал.

— Ну, хватит! — остановил солдата Тарас. — Два часа прошло уж? Три? Скорей найми извозчика, поедем к заставе. Да поскорей!

— Он мне всё про какого-то голландского шкипера болтал!

## 68

Старый Прохор убирал посуду и ворчал что-то, известное ему одному: был недоволен то ли плохими обедами из кухмистерской, то ли непогодой...

Тарас Григорьевич лежал с газетой на диване. Номер «Северной пчелы» вышел в тот день скучный, читать было нечего. Шевченко мял в руках газетные листы, нашёл объявление, 'немного занявшее его:

«Эйра Олдридж! Только что вышел из печати превосходный, отличающийся необыкновенным сходством, портрет этого знаменитого африканского трагика (в костюме из «Отелло»). Цена иллюминированному экземпляру — 1 рубль 50 копеек, неиллюминированному — 1 рубль».

Таких реклам в газетах и журналах было много. С приездом Олдриджа в магазине русских и иностранных книг Д. Е. Кожанчикова, что напротив Публичной библиотеки, и в других сорока книжных лавках города произведения Шекспира раскупались нарасхват. Мода на всё африканское заставила пустить в продажу мыло «Зулус»; кухмистерские предлагали невиданные африканские блюда; рядом с афишами о представлениях африканского трагика развешивались

объявления Крейцберга-старшего об «Африканском пире», на котором укротитель обедал с хищниками за одним столом.

Журналы и газеты о самом Олдридже писали всё чаще и чаще. Упоминал о нём даже «Северный цветок», журнал мод, искусств, литературы и хозяйства... \*

...Тарас хотел было бросить газету, соснуть, как взор его приковался к небольшой заметке в полицейской хронике.

Прочёл её мигом,—сна как не бывало; прочёл ещё раз...

— Прохор! Прохор! Да идите же сюда... Слушайте!

— Что там такое? Нету мне от вас покоя на старости лет!

— Да слушайте же... «Недавно пойман на краже некий Василий Пименов, дворовый человек господина Болотова...»

— Что вы такое читаете?

Тарас прочёл ещё раз. Прохор выслушал и больше не спрашивал ничего. В заметке рассказывалось о грабеже, о попытке бежать, о намерениях упомянутого Пименова сманить с собою крепостную девку из соседского двора, о том, что, по просьбе хозяина, вор отправлен без суда и следствия на каторжные работы...

Прохор сидел в углу, у печки.

— Сынку, сынку...

Шевченко смял газету и бросил было к печке; потом поднял, расправил и сунул в карман.

Судьба не уставала бить его и близких ему людей, сокрушала все начинания, все надежды...

Вечером получил Тарас три записки.

Первая была от Кулиша. Этот человек умел не замечать, что ему не было нужно:

«Сегодня святая пятница, добродеею, и вечером добрые люди будут её у меня величать. Приходите, если на то ваша милость, поблагодарить величание.

*Кулиш».*

Шевченко подумал: «У кошечки—когти-то в рукавичках».

Другая записка пришла от Борлакивской:

«Уважаемый Тарас Григорьевич!

Не за горами — сочельник, свят-вечер. Ждём вас к себе на кутью. А на моего нерасторопного мужа не обижайтесь. Да и про дело ваше поговорим.

*Г. Б.»*

Третье письмо было в конверте с баронским гербом:

«Уважаемый коллега, Тарас Григорьевич! Очень прошу, зайдите ко мне по интересующему вас делу. Нашёл одного скульптора, подходящего учителя вашему кучерёнку.

*Пётр Клодт».*

Тёплая зима оголила крыши и торцы.

В ясный декабрьский день друзья гуляли над Невой, — двое детей и двое взрослых.

Вид их привлекал внимание прохожих.

Величественная осанка делала Олдриджа более высоким, чем был он на самом деле. Выпуклый лоб выступал над мужественным лицом, чёрные глаза озаряли его, — но даже в минуты веселья не погасали в них искорки грусти.

С Олдриджем прогуливались две нарядные, смешливые и подвижные девочки. Был с ними ещё и усатый, немного сутулый пожилой человек в тяжёлом крытом тулупе.

Шевченко кручинился, чуя близкую разлуку. Айра должен был выехать на гастроли в провинцию...

Рассматривая улицу, актёр иногда кратким словечком спрашивал о чём-то. Дополнял вопросы красноречивыми жестами, и Тарас отвечал, без участия непременно переводчиц, так же кратко и выразительно.

Над Невой, напротив Биржи, вороньей стайкой чернели на снегу экипажи питерских дельцов и коммерсантов. Неподалеку, у самого берега, стояла толпа.

Детвора, водоносы, франты разглядывали чёрный эскимосский чум, привезённый сюда каким-то деловитым молодчиком.

Возле чума олени сонно покачивали головами, ожидая санной дорожки. Несколько упряжек ещё бегали четвёрками по узкой и грязной полоске снега, оставшейся у самого берега. Эскимос, правивший оленями, был одет в чудной, до колен, балахон.

Олдридж хотел в тот день побывать в Эрмитаже и воспользоваться объяснениями знающего человека. Тарас Шевченко много лет знал эти залы.

Еще издали, с пустынного Адмиралтейского бульвара видны были за царским дворцом подъезд и кариатиды Эрмитажа.

Когда проходили мимо Александровской колонны, Шевченко рассказывал о самом большом в мире гранитном монолите.

Айра остановился возле колонны, задрал голову, чтобы поглядеть на бронзового ангела с крестом, подошёл к ограде, сделанной из стальных пик, осторожно пощупал рукой чёрные острия, взглянул на неподвижного часового, ниже него чина роты дворцовых гренадер, и молча направился дальше, к Миллионной.

Божественный арап вдруг заспешил, заторопился, — в Эрмитаж зимой впускали только от половины десятого до двух часов дня. Опаздывать нельзя было, потому что Олдридж собирался вскоре покинуть русскую столицу. Да и билеты граф достал именно на сегодня.

В вестибюле вытирали ноги, снимали шубы. Девочки опраивали кружевные воротнички; Катя, конфузясь, заглядывала в зеркало; Олдридж приглаживал непокорный жёсткий чуб.

А когда все направились ко входу, Айру не захотели впускать. И совсем не потому, что он был чёрен: Айра в тот день, вместо фрака, надел обыкновенный сюртук, а в сюртуках и пиджаках в Эрмитаж тогда никого не впускали\*.

Друзья стояли у входа, поражённые неприятной неожиданностью. Дивная белая лестница влекла к себе, абрикосовые, с лиловыми прожилками, блестящие стены бросали золотистые блики на щёки Айры.

Тарас готов был итти напролом. Объяснял капельдинеру, что перед ним — гениальный артист, что он уже собрался уезжать в Лондон, что он не успеет переодеться до закрытия Эрмитажа. Но всё было напрасно.

Айра заглядывал внутрь. Лицо его от прилива крови будто ещё больше потемнело, вытя-



нулось; ему тоже пришлось укрощать себя, чтобы силой не переступить запретный порог.

Девочки уже перешли его, стояли на лестнице, ожидая, что будет дальше. Трагик подморгнул графиням, чтобы спустились к выходу, и отвёл их в тёмный уголок у гардероба.

— Соберите все булабочки, — обратился он к Катеньке. — Булавки! Ну, обыкновенные булачки... вот такие!

В борту тарасова суконного фрака нашлось их несколько. По указаниям Айры, все трое подкалывали спереди полы его сюртука.

Тарас Григорьевич ухмылялся в ус, ждал, что из этого получится, а затем чуть не затанцевал от радости, увидав, как гордо и величественно прошёл он через другой вход мимо контролёров, вверх по лестнице.

Все смотрели на лукавое лицо, оживлённое шуткой и совсем детской шалостью, и никто не заметил на нём довольно странного костюма. Всё же это был лишь воображаемый фрак!

## 71

Спектакли с участием Олдриджа прекращались, но уезжать из русской столицы ему не хотелось. Гастрольный контракт кончался, продлить его Адлерберг не разрешил, а ехать в Москву для продолжения дебютов ещё было рано.

Двадцатого декабря был бенефис.

Ещё до начала спектакля восторженные дамы-поклонницы и актрисы питерских театров собрались в трёх крайних ложах бельэтажа. Все пришли с цветами.

Столичные актёры преподнесли Айре лавровый венок с золотым браслетом на нём, адреса,

букеты... Это было уже настоящее чудо. Тридцать лучших актёров столицы подписали большое письмо, приветствовали Олдриджа, принесли подарки, словом, признали его необыкновенный талант.

Под письмом, вручённым Айре, были славные имена: Сосницкий, Мартынов, Максимов, Степанов, Бурдин. В письме были стихи, хотя и не совсем ладные:

— Пойдёмте, братцы, целым миром  
Спасибо русское снесём  
Тому, кто нас дарил Шекспиром —  
С натурой, чувством и умом...  
...Он был капризно-властным Лиром —  
«Король от головы до ног».  
Так скажем в путь ему мы с миром,  
подавши лавровый венок:  
«Такие гости очень редки,  
Олдридж, мы бьём тебе челом  
И просим милости напредки  
С Евреем, Мавром, Королём!»

Приняв подарки, выслушав приветствия, Айра ещё раз поблагодарил присутствующих негритянскими песнями в водевиле Бикерстаффа — «Висячий замок». А затем, после спектакля, обратился с речью ко всем, кого он пленил своим талантом:

— Господа, со дня на день я откладывал, не внемля призыву моего сердца: поблагодарить вас за все цветы, за рукоплескания и слёзы, за искренний смех, а теперь, начав это, не найду, может быть, и слов, чтобы сказать вам моё искреннее спасибо. Вы почтили меня на языке сердца, понятном всем народам, вы в чёрном лице моём проявили сочувствие ко всему угнетённому племени моему...

В начале речи Айра процитировал «Гамлета»: «Краткость — душа умной речи, и я буду кра-

ток», — но говорил он долго и взволнованно. То подымал глаза к райку, то смотрел в ложи, почти не владея собой, размахивал руками, переступал с ноги на ногу. Слушали его в тишине, хотя большинство не понимало ни слова, потому что это уже не был известный всем шекспировский текст, а собственные его, Айры, слова.

Большинство слушало, не понимая, но никому не хотелось, чтобы умолкал его певучий голос.

— Великодушные чувства, — говорил Айра, — заставившие отметить моё искусство, могли зародиться только в таких возвышенных сердцах, как ваши; магнетическая цепь соединяет всех любителей истинного искусства в одно единое братство... Все, что я здесь получил, сохранится на родине моей священным наследием. Вменю себе в обязанность — внушить сыну моему уважение к памяти друзей моих... А теперь подхожу к самой трудной части моей речи: я должен сказать вам тяжкое прощайте! Но горькие и разнообразные чувства, волнующие меня, не позволят остановиться на этом слове. Повторяю моё прощальное слово и молю бога — пусть благословит он и примет каждого из вас под своё покровительство...

Крики потрясли театр. Артиста на руках вынесли на улицу.

Он плыл над бесновавшейся толпой, окружившей театр и ждавшей его выхода. Гурьба студентов шумно впряглась в экипаж, чтоб отвезти Олдриджа в гостиницу.

Кулиш был настроен торжественно.

В доме у Ганны Гавриловны пахло ладаном, воском, сеном и теми неуловимыми рождествен-

скими запахами, которые ещё с детства так волновали Кулиша.

Наступал сочельник.

По мокрым улицам Петербурга сновали озабоченные люди. Каждый встречал святки по-своему, в зависимости от взглядов, настроений и кошелька. Но все эти люди, сновавшие сегодня по Сенному базару, по Апраксину двору, по келейкам ростовщиков, все эти люди не знали обычаев его милой Украины... И только здесь, в этом уютном доме, находил Панько Олелькович то, чего искал в такие заветные часы...

Под образами уже стояли на сене кутья и взвар. «Шулики» плавали в маковом молоке. От постного борща разносились по всему дому пряные ароматы. И Кулиш, и Таволга посматривали на часы: когда же? не пора ли? Там, где-то на Украине, христиане начинали святочный ужин, дождавшись первой звезды... А здесь такое непроницаемое и мокрое небо, что приходится высчитывать по часам, когда придёт время появиться долгожданной звёздочке!

— И как же замечательно, Грицько Митрофанович, сейчас там у нас! Ясное небо, звёзды, снег скрипит под ногами колядников, славящих Христа...

— Плакать хочется, — сказал Борлакивский.

А Кулиш снова обратился к Гоголю, как и всегда:

— Неужели вы не помните этих строк? Правда, я их выучил на память, переписывая текст, читая корректуры... Слушайте: «Последний день перед рождеством прошёл. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям

и всему миру, чтобы всем было весело колядовать...» Что вы скажете? А?

— Плакать хочется, — снова повторил Борлакивский и заговорил на удивление велеречиво: — Так бы и поехал туда... Но не скажите! — забасил он. — Не скажите! И в Петербурге жизнь не плоха, у кого денег куры не клюют! Тут можно так зажить — что ну! Тут вам балы да концерты, зверинец... Искони бе в сем граде великий интерес! Тут вам и карлики на немецком театре; восемнадцатилетняя дама этакал, знаете, носит по сцене живого египетского крокодила; да тут и чарку можно всюду опрокинуть, и всё под рукой. Да... Только вот у меня Ганна Гавриловна очень уж строга... Что говорите?

Но Кулиш был занят собственными мыслями.

Он прислушивался к стукам и шумам на кухне, к таинственным шорохам, носящимся по дому в предвечерний час... Ждал, не придёт ли Тарас? Думал о нём уже не сердито, скорее — с сожалением и скорбью: не понимает этот человек его добрых намерений и чувств...

Он по-своему горячо любил Тараса и всегда искренне заботился о его благополучии, всякий раз — в добре и зле — поступая по неуклонному велению своего неверного сердца, если это не задевало его собственных интересов... Расстаться навеки они не сумели бы, потому что вместе делали одно большое дело, с которым друг без дружки управиться не могли. Кулиш в те годы, где только мог, прославлял великий гений Тараса. А Шевченко как самый светлый праздник, как великое событие для всего народа Украины встречал каждую новую книгу Кулиша — будь то его романы, рассказы или стихи, будь то переводы Шекспира или первая по времени биография Гоголя, или замечательные фольклорные собрания—

«Записки о Южной Руси», которые Шевченко перечитывал много раз и ставил превыше всего. Знал Пантелеймон Кулиш, какую цену кладёт Шевченко всему многообразию его талантов, его научным изысканиям, его подвижническому трудолюбию и деловитости, его издательской сметливости, явившей свету такое множество украинских книг. Знал Кулиш, что только за всё это склонен Шевченко много раз прощать ему и все мелкие пакости, и порой непонятную трусость, и слишком частые перемены во взглядах, и его хуторскую помещичью ограниченность. Поэтому Панько всегда терзался не только его резкой нетерпимостью, но и мужичьей добротой Тараса. Он помнил всё доброе, что говорил Шевченко о его делах. И ещё крепче запоминал всё злое. Не мог забыть и слов Тараса: «Плохо ты кончишь, Панько. Будешь разрушать, что сделал. Будешь хаять то, чему молился. Ты отступишься даже от памяти моей»... И Кулиш уже чувствовал и понимал, что неуклонно идёт к этому, но остановиться не мог. И до слёз ему тяжело было, что в святой вечер они — врозь...

Ротмистру Таволге, румяному и подвижному, уже не сиделось на месте. Удалившись куда-то, он вскоре впорхнул в комнату, уже навеселе, деловито осмотрел накрытый стол, звякнул пустой рюмочкой, потрогал пальцем осетра, ткнул в пироги и вздохнул:

— Когда я был на выставке в Лондоне, месье, я видел там, недалеко от Хрустального дворца, ах какой пирог! Свадебный пирог в пять пудов весом! И ещё другой пирог, совершенно исплинский, испечённый страной Голландией, названный пирогом всех наций...— А почему бы, господа, почему бы не устроить, хоть бы и в том же Лондоне, всемирную выставку яств?

Каждый народ явился бы туда со своей кухней, с тем, что он ест и пьёт! А судьба народов разве не зависит от пищи? И подумайте только, как замечательно на этой выставке прославился бы по всему свету украинский народ. Мы бы открыли миру восхитительный полтавский борщ, запорожскую саламату или тот же свадебный лежень, бульбу, вертуту, спотыкач и кусаку, и всё, что мы видим на этом столе. Садитесь, прошу вас! Садитесь.

За столом ждали Тараса ещё полчаса. И звезде пришла пора, и пустые желудки напомнили о себе.

Таволга не выдержал.

— Давайте хоть выпьем.

— Должен притти Тарас. Он чтит этот праздник...

Кулиш старался успокоить самого себя; разрывать с Шевченко у него не было ни желания, ни расчёта. Он очень боялся этого и успокаивал сам себя:

— Придёт... Он рассказывал когда-то, что отца его к рождеству не оставалось и горсти зерна на кутю. Приходилось выпрашивать у добрых людей. А потом на ужин каждому доставалось по щепотке кутю, по ложке взвара. И всё!.. А тут у вас, пани моя милая, действительно хоть на выставку! — и Кулиш торжественно повёл рукой над столом.

— Comme il faut, — объявил Таволга.

Здесь и точно было всё, что полагалось по «предківським звичаям». Кроме всяческих постных яств, была и пшеничная кутя, и соты мёда, и всё, что следовало. А Грицько Митрофанович, спрятавшись за большой кучей пирогов, как делал это по обычаю каждый год, спрашивал у Ганны Гавриловны:

— А видишь ли ты меня, Ганнуся, за пирогами?

— Нет, не вижу.

— А вы, тату?

— И я не бачу, — отвечал Таволга.

— Ну, так дай, боже, чтоб и на тот год не увидели, чтоб имели мы всего так же много...

— Дай, боже.

Все крестились.

Ужин начали без Шевченко.

— Выпили бы мы с ним, — грустно гудел Грицько.

— А мы можем и втроём, — заметил Таволга. — Ваше здоровье!

Когда челядинцы пришли в покои славить Христа, когда спеты были все заказанные хозяйкой колядки, общество встало из-за стола; только Ганна Гавриловна поглядывала о сожалением на совсем непечатого судака, блестяще приготовленного по-капуцински, с ромом.

— Почему не вышла Марина колядовать? — спросил Кулиш.

Ганна ответила нехотя:

— Опять больна. Надо было всё-таки её на хутор отослать или... продать... Хворает и хворает.

— Климат! — пробасил Борлакивский.

— Лежит?

— Десятый день... И такая румяная да красивая, что и не сказал бы, что больна, а руку приложишь — как жар горит! А очи...

— Мне жаль бедняжку Марину: заболеть под такой праздник! Искренне жаль... И любви! Что делает с людьми: и животворит, и убивает. Помните, в моём стихотворении: «Віночку мій любий, рясний, зелененький! Пливи за водою, мов човник легенький; скажи, яка доля обом



нам судилась: чи буду я в парі із ким полюбилась? — і дивляться в воду на пишную вроду, і тихо-тихенько несе річка воду...» Музыка? Вы слышите музыку слова? Мелодию?

Поэтическое настроение никогда не оставляло его под рождество и пасху. Панько Олелькович рассказывал о своих планах, о переводах Библии и Шекспира...

Опустив ресницы, снова читал свои стихи, слегка картавил, напевал, любуясь каждым словом. Томно поёживаясь, попросил у Грицька Митрофановича:

— А дайте-ка мне вашу скрипку... Сыграю.

Борлакивский принёс со своей половины похожий на детский гробик, покрытый пылью, чёрный деревянный футляр.

Кулиш открыл его. Настраивал, прислушивался. Затем вынул свежий платок, приложил к подбородку и, склонив голову набок, поджав тонкие губы, взмахнул смычком.

Полилась тоскливая, отчаянная мелодия. Кулиш играл без особого мастерства, но с чувством и страстью. Только в музыке он был настоящим.

Ганна Гавриловна любовалась Пантелеймоном, смотрела на чёткий профиль и мечтала о чём-то своём, сокровенном... Ведь так редко строгий Панько преображается...

Слушала и мечтала. Но что это? С грохотом распахнулась дверь. В комнату вбежала Марина. Видно было, что девушка только что вскочила с постели. Глаза её горели безумным огнём.

— Перестаньте! Перестаньте!.. Не мучьте меня. Я не могу больше слушать, не могу! Перестаньте...

Кулиш испуганно глядел на девушку, которую

привык видеть только нарядно одетой, услужливой и милой, но ещё машинально водил смычком.

— Перестаньте... — и Марина, не помня себя, кинулась на Кулиша, ударила по скрипке, выбила её из рук.

Всё произошло мгновенно. Пани Борлакивская закричала.

Больная рванулась к двери. Ганна Гавриловна погналась было за ней, но Марина успела добежать до порога и скрылась в темноте...

Моросил дождь...

Искали девушку долго.

Грицько Митрофанович, бледный и недовольный испорченным праздником, стоял у порога. Смотрел на фонари, передвигавшиеся во влажной тьме. Досадливо хмыкал: «Такая хорошая девушка и вдруг...»

— Какая неблагодарность... — пробормотала Ганна Гавриловна. — Да ещё в такой день!

— Девушка-то больна, — сказал Кулиш — Простите её, умоляю! Это я тронул её израненную любовью душу! Всесильное чувство...

— Э, да что там! Это же не тарасова «Катерина». Это — жизнь, Пантелеймон Александрович. Жизнь! А вы...

Марину нашли в беспамятстве — по ту сторону канала. Когда свет масляного фонарика упал на ее лицо, слуги, поднимавшие больную, увидели, что из уголка полураскрытых губ ползёт зловещая струйка крови.

— А почему это господин Кулиш не пришёл? — спрашивала в тот же вечер, в сочельник,

Анастасия Ивановна. — Он праздник встречает в своей семье?

— Да какая у него семья! Жену держит где-то в деревне. Детей нет... Один!

— Меня, Тарас Григорьевич, очень трогает ваша дружба. Он так преклоняется пред вами...

— Да! Родичи мы с ним: «коли мій батько горів, його батько руки грів»...

Анастасия Ивановна не совсем поняла. Пришлось перевести.

— А я-то его приглашала только для вас, как друга вашего.

— Друга? Как говорят киргизы, — хорошего человека по товарищу узнают... Но, увы!

— Что такое?

— Да какой же он товарищ? Он, любезнейшая Анастасия Ивановна, просто путаник, а впрочем, может, и хороший человек... Это, знаете, как бы вам сказать... — «Не так тії вороги, як добрі люди — і окрадуть, жалкуючи, плачучи осудять, і попросять тебе в хату, і будуть вітати і питать тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб з тебе сміятись, щоб тебе добити... Без ворогів можна в світі якнебудь прожити, а ці добрі люди найдуть тебе всюди, і на тім світі, добряги, тебе не забудуть»...<sup>1</sup> Я вам сейчас переведу, графиня.

---

<sup>1</sup> ...Не так недруги твої, як добрі люди, і обкрадуть, жалеючи, і плача осудять, і попросять тебе в хату — на ласку богаты, о твоєм здоров'ї спросять, щоб потом смеяться над тобою, смеяться, добить смехом этим. Проживеш на белом свете, недруга не встрети, а доброму люду тебя найти всюду, — и на том свете добряги тебя не забудут».

В тарасовой келье старый суфлёр бросал на стынувшие уголья и в горячую золу поддувала сырые картофелины, готовил угощение негру.

Олдридж, взяв кривую кочергу, смотрел на подёрнутые пеплом уголья, на узловатые пальцы суфлёра, красные и дрожащие. И сказал, обращаясь к Шевченко:

— И мы с тобой уже старики, Тарас. Мы скоро будем стары, как деревья, которые отцвели в джунглях, как реки, ушедшие в песок.

— Я не стар. Поэты не стареют. Сколько б ни прожили, умирают молодыми. Или не умирают вовсе. Как Пушкин.

— Я выучу русский язык, чтобы читать его... А не слыхал ли ты, любил ли Пушкин моего Шекспира?

Тарас взял с полки книгу, в которой много строк было дописано от руки — из ненапечатанных текстов, и раскрыл не листая.

— Слушайте. Вот: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков... У Мольера «Скупой» скуп и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолобив, остроумен...» — и Шевченко продолжал далее...

Суфлёр, не забывая про картошку, старался переводить всё. Но с Пушкиным справиться было трудно; не понимая какую-нибудь фразу, старик боялся переспросить; он так вёл себя, чтобы его не было слышно, не хотел мешать господам своим присутствием...

— А вы видели когда-нибудь Пушкина? — спросил Айра.

— Видел. В гробу... И только... — и не утерпел, чтобы не показать негру заветную книжку, спрятанную на дне сундука. Книжку эту вручил ему накануне Николай Курочкин, получивший её от знакомого капитана, прибывшего, после крушения корабля в далёких странах, по сухопутью домой.

Про неё, про эту самую книжечку, ещё первого декабря писал ему из Москвы один из земляков, Михаил Максимович, ординарный профессор ботаники: «Слышал я, что какой-то разбойник неистовый там, за границей, тебе напакостил...»

«Пакость», о которой упоминал Максимович, стала для Тараса радостью и гордостью: в Лейпциге, городе типографий, была издана по печению Вольфганга Гергардта книжка «Новые стихотворения Пушкина и Шавченки». Там рядом с неопубликованными творениями Пушкина встали и новые стихи Тараса, стихи, которых, конечно, не пропустила бы царская цензура... \*

Пушкин и Шевченко! В одной книге, рядом...

Выход этой книги мог, разумеется, лишь повредить Тарасу, стать новым препятствием для напечатания его произведений в России, но захватывающая радость заглушала все опасения, заставляла забыть осторожность.

В сборнике были напечатаны его неизданные произведения — крамольный «Кавказ», «За думою дума», «Заповіт» и другие...

Пушкин и Шевченко!

Это было для Тараса высшей наградой после всех несчастий и унижений.

Айра листал книжку, расспрашивал Тараса. Затем приложился к ней губами.

— От неё повеет свежим ветром, — говорил

он, — в вашей стране. Это напоит живой водой жаждущие уста народов ваших. Но пока спрячьте книгу, спрячьте! Так будет лучше.

Старый шептун передавал всё слово в слово, кланялся, старался никому не помешать, но, как только в руках у Айры появилась крамольная книга, суфлёр оставил поддувало и потянулся к ней.

— Можно посмотреть?

Тарас и Айра переглянулись. Это была первая просьба за всё время, пока старик прислушивал негру.

— Разумеется, можно. Извольте, — и Тарас протянул книгу. Пристально посмотрел на суфлёра, будто впервые увидел его. Похож он был на старую птицу с грустно поникшей головой.

— Уйди отсюда, — вдруг, что-то сообразивши, сказал ему Айра. — Уйди!.. — крикнул он. — И чтоб я тебя больше здесь не видел! Довольно!

Суфлёр бросился вон.

— Что ты? — удивлённо спросил Тарас. — Он был когда-то...

— Пёс! Предатель! — ответил Айра.

Тарас, конечно, не понял.

Перевести было некому. Недоуменно глядел на актёра, на лицо его, искажённое брезгливой гримасой.

Олдридж листал книжку, мурлыкая что-то себе под нос, затем, обернувшись к Тарасу, затянул тихо-тихо знакомую уже песню о дружбе, затем оборвал: обжигая пальцы, выхватывал из золы картофелины, разламывал и ел, дуя на горячий пар.

— Надо прощаться, Тарас. Пора!

Айра должен был уезжать. Завтра утром.

Друзья молча обнялись. Шевченко хотел ска-

зять что-то и только простонал глухо, болезненно.

Айра собирался уходить, но, вспомнив что-то, полез в карман, вытащил большой, аккуратно исписанный лист... По жестам Шевченко понял, что письмо надо передать кому-то после отъезда негра из Питера.

Присмотревшись, разобрал Тарас написанное латинскими буквами имя министра двора: Адлерберг.

Тарас спрятал письмо в сундук, затем выпрямился, посмотрел на Айру и двинулся к двери. Друзья вышли на обледеневшую набережную.

Айра почему-то хмуро и сердито смотрел на Тараса и молча прощался с ним. Встретятся ли ещё? У поэта измученный взгляд и неверная походка... Олдридж думал о судьбе поэта. Почему-то вспомнил старую английскую пословицу: «В кремне огня не видать, пока по нему не ударят». А это — кремь! Хотелось об этом сказать, но не умел. Прощай Тарас!

## 75

В тот же день, проводив Айру в гостиницу, Тарас Григорьевич шёл домой и возле университета встретил толпу студентов.

Прислушивался к разговорам. «Не разрешили собраться в годовщину университета...» — «А это, чтобы не говорили об эмансипации...» — «А мы поговорим здесь». — «За напечатание в «Русском вестнике» статьи про университеты, вы знаете, отрешён от должности цензор Крузе...» — «Тоже Робинзон?» — «Не шутите: человек пострадал! Надо сделать подписку на денежное вспомоществование этому Крузе!» —

«Надо, надо...» — «Надо бы написать ещё и бумагу попечителю, с просьбою защитить от полиции и солдат...» — «А что?» — «А ты не знаешь? Позавчера был пожар на Каменном... оказалось, в горящем доме остаётся имущество одного студента; товарищи бросились спасать: солдаты, окружавшие цепью пожар, не пустили студентов, били их прикладами, а офицер кричал: «Бей поджигателей!» Виноватыми остались студенты, и по этому делу уже наряжено следствие...» — «А кто видел, какое сейчас вывесили повеление? Запрещается аплодировать профессорам на лекциях, изъявлять своё одобрение или неодобрение».

Молодые люди шумели, спорили. Тарас прислушивался. Не утерпевши, спросил что-то, сам заговорил, заспорил. Сначала негромко, но слушателей набиралось всё больше, надо было — громче, и хриплый голос его напрягся, зазвенел. Чьи-то руки, множество рук подняли его вверх и поставили на цоколь университетской ограды.

Шевченко стоял молча.

Он первый сверху заметил всадников: кони во весь опор неслись к университету. Но Тарас не спешил уходить. Толпа росла, волновалась у самого берега Невы. Мимо, запыхавшись, куда-то пробежал Старов.

Всадники приближались. Видно было, как пар клубится от конских морд.

Лошади остановились. Прохода по берегу не было.

— Эх, господа студенты! — восклицал какой-то молодой человек. — Только враги университета могут вредить ему во мнении государя и общества. Не бережёте вы ни свой университет, ни науку, ни себя.



Тарас выпрямился, собираясь ответить. Но кто-то схватил его за руку и потянул вниз. Это был Чернышевский.

— Слезайте. Вам надо отсюда уйти.

Где то стреляли.

Николай Гаврилович боялся за Шевченко, хотел увести его подальше и снова вернуться к студентам. Шевченко шёл неохотно, оглядываясь.

Проводив Тараса до Четвёртой линии, стал прощаться.

— Пора мне. Недосуг. Что? К вам? Да я уже заходил как-то, да не застал... А вот почему вы не придёте ко мне домой или в «Современник»? По-знакомлю со всеми, с Добролюбовым, с Некрасовым.

— Приду, приду.

Когда Чернышевский ушёл, Тарас возвратился к набережной и снова поспешил за ним, к университету.

## 76

Утром следующего дня на вокзале Айру окружала толпа. Все что-то кричали, произносили речи, бросали ему вянувшие от холода цветы. Пришли студенты. Были все знакомые: Щербина, Курочкины, Толстой, Семён, артисты, репортёры; Прохор стоял в стороне. Здесь же светился и помощник академического полицмейстера Соколов. Подле него держался суфлёр немецкого театра, не отрывая от Айры воспалённых глаз.

Негр отвечал на прощальные крики и речи, защищаясь от изливания восторгов Николая Дмитриевича. Словесник лез обниматься, кричал, даже сам не помня, что говорит:

— Преодоление тёмных сил, господ, ликовало в наших сердцах, возвышенные чувства, свойственные русскому человеку, уносили нас неведомо куда, вместе с ним, вместе с божественным арапом из Лондона...

Айра, протолкавшись через толпу провожающих, обнял и крепко поцеловал Тараса, повернулся и вскочил на площадку. Наверху, на высоких козлах, затрубили кондукторы, и поезд тронулся. Связанные цепями зелёные вагоны третьего класса, без крыш и сплошных стен, со страшным стуком покатались мимо Тараса\*.

В локомотиве открыли продувные краны и регулятор. При первых оборотах колёс помощник машиниста шёл рядом. Затем, закрыв краны, вскочил на ходу в паровоз.

Из высокой тонкой трубы валил дым, посыпались раскалённые угли. Пассажиры третьего класса уже прятались, укрываясь от искр, надевали защитные очки, купленные на станции вместе с билетами.

Поезд шёл медленно. Айра, подняв руку, стоял на усыпанной цветами площадке. Горячий уголёк упал на драгоценную шубу, Айра не заметил этого; Тарас крикнул ему вдогонку, тот ничего не понял.

Шевченко долго не отводил глаз. Но Айры уже не видел. Раскачивался на крыше вагона первого класса его громоздкий багаж — чемоданы и кофры.

Поезд скрылся в тумане. Взор поэта привлекали нескончаемые лезвия рельсов. Тарас вцепился бы в поручни и уехал бы.. Здесь начинался путь на Украину!

Он стоял и не видел, что все уже расходятся.

Слёзы катились по лицу. Тарас не утирал их.

Кто-то коснулся его руки.

Оглянувшись, заметил, что перрон уже пуст, рядом стоит Оленька и чуть дальше — граф со старшей дочкой. Да ещё, в другом конце опустевшей платформы, окаменела недвижная фигура станционного жандарма.

Оленька потянулась к Тарасу, заставила его нагнуться и поцеловала в щёку. Толстой распорядился подать карету.

Солдат Ефимов стоял в стороне. Когда карета, блеснув лакированным кузовом, свернула на Невский, поплёлся домой.

## 77

Через несколько дней Шевченко вспомнил о письме негра к Адлербергу. Вертел плотную бумагу в руках, присматривался к непонятному тексту и снова положил на дно сундука. Отправлять боялся. Надо было подождать, пока Олдридж закончит гастроли в провинции и уедет в Лондон. Что хорошего мог написать артист в министерство двора после всех пакостей, ему учинённых?

На всякий случай попросил Катеньку перевести. Слушая, хохотал до слёз, до колик в боку. Катенька ничего не понимала. Что смешного?

«Ваше сиятельство!

Прошу извинения, что не мог перед отъездом лично изъяснить вашему сиятельству чувства глубокой благодарности за оказанное ко мне непосредственное внимание и уверяю, что навсегда, где бы я ни находился, сохраню самое отрадное воспоминание о стране, так радушно

меня принявшей, и буду молиться о продлении жизни министра, столь полезной для государства».

Тарас хохотал. От смеха слёзы текли по щекам. Катенька, напуганная, принесла стакан с водой. Шевченко сделал глоток. Зубы цокали о стекло.

Успокоившись, надел кожух.

— Куда вы?

— На почту, сердце моё, на почту, серденько! Идёмте? Спросите у мамы, можно ли вам со мной? Что? Сегодня воскресенье? Все конторы закрыты? Придётся свезти на вокзал.

## 78

Из дому Тарас не выходил.

«Минули літа молодії. Холодним вітром од надії уже повіяло. Зима! Сиди один в холодній хаті — нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема анікогісінько. Нема!»

Записал строки на клочке бумаги, не кончил, так и бросил на столе — может быть, пригодится... Трудился больше над гравюрами, готовя «программу на звание академика».

Приходила Катенька. Принесла первый номер «Отечественных записок» с началом нового романа Гончарова — «Обломов». Принесла от графини сладкий горячий пирог, шёл от него хороший запах; забота была приятна, и почему-то разбирала досада... Забежал к поэту, как и раньше, легкодумный Старов и сразу принялся за пирог, жадно, как человек изголодавшийся; казалось почему-то, что учитель остался без работы; рассказывал новости, новости, новости. Про Олдриджа вспоминал всё реже и реже, это

было уже прошлым, которого Старов никогда не ценил.

Заходил в мастерскую и угрюмый Шербина. Читал новые экспромты, эпиграммы, фыркал и кашлял, злился на всех и всё.

Навещал иногда Тургенев. Приходил Клодт. Будто ничего и не случилось. Барон принёс Тарасу стиральные резинки вместо украденных когда-то мартышкой Манькой, подарил поэту новую бронзовую статуэтку и попросил выгравировать его портрет.

К Шевченко часто приходили теперь со всевозможными заказами даже вовсе незнакомые господа. Он гравировал портреты малоинтересных людей, печатал их. Так он зарабатывал на хлеб.

Изредка появлялся Николай Курочкин; запыхавшись на лестнице, ложился на диван; приходил рассказать новости, посудачить, покурить вместе, отдохнуть. Приятели — Богданов, Пальмин — были заняты новым журналом, «Искрой», дозволенным к изданию под началом известного карикатуриста Н. А. Степанова и младшего Курочкина, Василия... Готовился первый номер. Типография Кулиша собиралась приступить к печатанию. Шли уже споры с цензурой\*. Николай Курочкин вместе с ними занимался делами нового журнала.

Снова оставшись в одиночестве, Тарас горячо принимался за работу: закапчивал медь, готовил реактивы, резал и травил.

Солдат не отходил от него, знал, как ему трудно добиваться звания академика: нужны были либо связи и титулы, либо тяжёлый, упорный труд\*\*.

Чтобы даром не шло время, старик не отпускал Тараса даже в кухмистерскую, сам ходил

на Сенной за провизией и готовил, что умел. Заработков Тараса нехватало, и солдат тратил свои скудные сбережения.

Тарас был признателен старику, старался делать для него что-нибудь приятное, часто навещал его каморку.

Придя однажды к нему, застал старика в слезах. Он сидел на полу и бессвязно лепетал:

— Полезай на стену, коли велят: шестью десятью шестьдесят.

— Что с вами, Прохор Михайлович?

— Да вот — таблица... умножения.

Солдат зарыдал.

— Чего вы?

— Васька...

— Что Васька? — встрепенулся Тарас.

— В княжество Финляндское увезли — камень долбить.

— Откуда знаете?

— Да... Верный ли человек весточку принёс, приснилось ли, — и сердито прибавил: — Знаю — значит, знаю! — и продолжал бессвязно: — Это же я его тогда на большом пожаре, осенью, когда сено горело, я его вытащил из огня...

Когда Тарас вышел, солдат, слышно было, снова забормотал:

— Живи, поколь на плечах голова: восемью девять... восемью девять... восемью девять...

С досадным стуком падал занавес. Актёры-карлики, волею начальства сменившие в Марининском Олдриджа, разыграв смешную немецкую пьеску, стирали грим и расходились. Театр.

пустел. Гасли люстры и лампы, и только у суфлёрской раковины горели две свечи. Пламя их трепетало у седой головы, старый суфьяёр не шёл домой. Положив голову на тетрадь, он глядел в тёмную глубину сцены. Вон там ещё недавно стояло ложе Дездемоны... Подле него на ступенях бился в смертных судорогах мавр. Было страшно. Но когда падал занавес, кончались вызовы и смолкали аплодисменты, суфлёр всё-таки шёл к нему. Артист, разбитый усталостью, протягивал руки, давая себя раздеть; говорил ли суфлёру какие-то незначительные слова, просил ли поторопиться с переодеванием, что ли, заштопать ли снова разорванную мантию или подать воды, — как ни странно, даже он, презренный театральный шептун, чувствовал себя человеком. Олдридж, как и все другие, не знал даже имени старика. Но разговаривал с ним, а не кричал. И что же... что же он сделал, старый подлец? И вдруг подумал: «Соколов-то должен ещё пятнадцать рублей», — но сейчас же забыл об этом.

...Когда полицмейстер предложил докладывать обо всём, что увидит и услышит у негра, суфлёр даже обрадовался заработку, но потом... потом... Эх!.. Когда Олдридж прогнал его...

— Приладь свой ключ... нажми педали... Доре, до-ре...

Старик грустным шопотом тянул слово за словом. Положив голову на тетрадь, между двумя свечами, закрыл глаза и видел брезгливый взгляд Олдриджа, и протягивал руки, хватал его за полы фрака, чтоб не уходил, чтоб выслушал...

Суфлёру хотелось плакать, но он не мог. Прислонился к подмосткам щекой, прислушивался к чему-то, к отзвукам своего голоса, к

тишине, закрыл глаза и не видел упавшей свечи, её пламени, жадно лижущего страницы тетради, тонкую, словно берестяную, крышку суфлёрской раковины.

## 80

Поздними вечерами, одинокий, в своей убогой мастерской, поэт словно воочию видел перед собой далёкий Лондон, встречу Айры с Дездемоной и сыном, снова мечтал о собственной семье, о Марине даже. Может... может быть! Может... веснушчатая подружка...

Затосковав, писал письма в родную Кирилловку, Ярыне, затем запирал исцёрканную, исцарапанную дверь, выводил мелом, куда пошёл, когда вернётся, — и отправлялся бродить по Питеру, вспоминая ночные, после спектаклей, прогулки с божественным Айрой, «трагическим королевского Ковентгарденского театра в Лондоне артистом и кавалером».

Спешил к дому Борлакивских, но возвращался назад.

Пошёл на Крестовский остров — к Старову. Какая-то старушка сквозь дверь сказала: «Господина дома теперь не бывает никогда. Из Смольного-то выгнали его?»

Снова бродил, бродил по городу, не находя себе места. Хотелось пойти к Чернышевскому, но боялся помешать ему.

И снова, снова блуждал по городу, не находя себе места.

Как-то, на одной из таких прогулок, Тараса Григорьевича опередили быстрые кони пожарного обоза.



Тарас, подняв голову, присматривался: не видно ли зарева.

— Не знаете ли, где горит? — спросил он у попавшегося навстречу длиннородого шарманщика.

Но всюду было темно, и поэт поплёлся потихоньку, думая свою думу.

На ходу затынул ту самую, что не раз напевал Айре:

Забіліли сніги, заболіло тіло, ще й головонька,  
Та ще й головонька,  
Ніхто не заплаче по білому тілу, по бурлацькому,  
Та й по бурлацькому.  
Ні отець, ні мати, ні брат, ні сестриця, ні жона його,  
Ні жона його.  
Ой, тільки заплаче по білому тілу товариш його,  
Тай товариш його.  
«Прости мене, брате, вірний товаришу...»

У театрального подъезда Шевченко остановился. Три колесницы стояли здесь, огня будто нигде и не было, и только присмотревшись, заметил отблески в маленьких верхних оконцах.

Горело внутри, должно быть, очень сильно, пожарные солдаты суетились. Ждали ещё один обоз с водой. Канал возле Мариинского театра был скован льдом, реки тоже замёрзли, и воду возили только из пожарного резервуара на Лиговке.

Тарас подошёл ещё ближе.

Из Большого театра, стоявшего на той же площади, после маскарада выбегали в панике сотни людей. Толпа вопила и металась. Суетились бледнолицые актрисы и актёры. Промчался с какой-то девицей Гулак-Артемовский и Тараса не заметил. Всюду мелькали

маски и домино. Арлекин шёл в обнимку с толстенным запорожским казаком. Откуда-то прибежали мастеровые и приступом пошли на огонь.

В трактире «Роза», где всегда после представлений немецкие инженеры лакомились булочками с розовым сиропом, осветилась витрина; испуганный немец-трактирщик, брюхатый, краснорожий, в колпаке и шлафроке, выскочил на многолюдную площадь и окаменел перед освещённой пожаром печальной маской Дон-Кихота; поднятое забрало, щит и копьё привели его в ужас.

Кто-то орал: «Держи поджигателя! Братцы!»

Дым уже клубился над театром. Тарас Григорьевич за пожарными солдатами старался проникнуть в здание, но вдруг большой купол театра со страшным грохотом провалился внутрь.

Дикое пламя широким столбом ударило в небо, разрывая траурный покров ночи.

Верхние окна, словно жерла пушек, выбросили залпы огня. Сразу стало светло и жарко...

Тарас помогал пожарным. Здесь ещё так недавно жил на сцене Олдридж! Здесь родилась их дружба! Но Шевченко не думал об этом. Не думал ничего. Тоска толкала его вперёд. Лез в самое пекло, как и когда-то давно — в Прилуках, спасая от огня убогую еврейскую лачужку... Пожарные понесли на улицу чьё-то обгоревшее тело, и Тарас не узнал в нём старого суфлёра...

Поэта тянуло к огню. Глаза его раскрывались всё шире и шире. Стало даже больно, и Тарас заслонил их широкой ладонью, словно защищаясь от солнца.

В двери постучали.

Шевченко ждал Курочкина с новым переводом его стихов или с номером «Искры».

Но вошёл Кулиш.

Увидав его, Тарас, бледный, с обгоревшим усом, поднялся от офортного станка, пошёл навстречу и протянул руку, — такое встревоженное было лицо у гостя.

— Тарас, родной, Марина умирает, — сказал Кулиш, еле шевеля губами. — Идём.

Шевченко стоял неподвижно.

— Тарас! Слышишь, Тарас! Умирает... А я-то ей и свадебный подарок приготовил.

Тарас тяжело опустился на ступени лестницы, ведущей в антресоли, и сидел, немой, неподвижный, казалось — вот умрёт он сейчас, на этих же ступеньках.

— Тарас, она сама прислала за тобой.

Шевченко словно проснулся.

Когда вышли на улицу, схватился за грудь, показалось, что дом покачнулся и падает. Переходили через дорогу, и Тарас шёл неровно, ковыляя, взмахивая руками, шёл, как подбитая птица. Молча влез на извозчичью гитару. И всю дорогу молчал.

Когда приехали, Марина была уже без памяти. Что-то шептала ещё, еле внятно, шевелила воспалёнными губами:

— Приснился раз... приснился раз Орысе... дивный...

Услыхав слова из своего старого рассказа, Кулиш бросился на пол и, растроганный, земно кланялся умирающей.

Шевченко грубо прогнал его. Подняв подмышки, молча вытолкал вон. А Марина, словно узнав, шептала:

— ... Тарас?

82

Он брёл к её могиле, присаживался на снегу у некрашеного креста, но не мог сидеть и тотчас уходил.

Боль и гневные слёзы душили его, перехватывали дыхание... «Марыся! Веснянка моя!»

Поздним вечером приходил домой. Не знал ни сна, ни покоя.

«Не спалося, а ніч, як море...» Сердце чего-то ждало. Болело, ныло. Хотелось плакать, но на губы просилась песня, давно сочинённая и как будто уже забытая:

— Ой. виострю товариша,  
Засуну в халяву,  
Та піду шукати правди  
І тієї слави...

Думал об Украине: «Вот кабы можно было приехать мне туда весной, до соловья».

Новые слова рождались ещё более сильные. Новая песня. Чёрная тоска и мусть прошли.

С мягким шелестом перо побежало по бумаге, без помарок, не останавливаясь. Так не писал давно.

Отблески, убегавшие от раскалённой печи, украшали неуютное мрачное жилище, населяя его проворными тенями. Сырые поленья шипели и трещали. Ветер гудел в трубе. Не слышно было даже осторожного стука в дверь. Постучали сильнее.

— Кто там? — спросил Тарас. — Войдите.

В двери стоял Соколов.

— Ваше письмо по ошибке занесли ко мне.  
Прошу вас.

— Вы очень любезны: не забываете меня.  
Тарас протянул руку за конвертом. В нём была записка от Николая Курочкина:

«Перевёл я, Тарасенька, твои «Слёзы», удачно ли — не знаю. Что это тебя не видно? Был у тебя в тот день, когда ты назначил, но не застал. Как тебе понравилась наша «Искра»?

Душевно любящий тебя

*Курочкин.*

Р. С. Ещё стихов, да самых сердечных!»

Прочитав записку, Шевченко улыбнулся и обратился к Соколову, всё ещё стоявшему у двери:

— Всё бодрствуете?

Соколов будто не понял иронии:

— Да. Почти все люди спят. Но почему это в вашем окне всегда свет? Горит и горит? Не спите и не спите?

Шевченко прищурил глаз, улыбнулся, дёрнул себя за усы, казавшиеся при свечке ярко-рыжими, спросил, указывая гусиным пером на язык пламени:

— Ну-ну? Нашли поджигателя? Бойтесь, чтобы не наделал пожару? — и прибавил на родном языке, почти шопотом: — А чи не пішли б ви звідси... геть? Прочь! — и с размаху стукнул кулаком о стол... — Я работаю, сударь, — и отвернулся.

Лёгкое перо снова взлетело, заскрипело, забегало. Стихов? Ещё? Самых сердечных?

---



## ПРИМЕЧАНИЯ

*К стр. 13*

«...Тупорилим твоім віршомазам...» В последней строфе поэт даже не пощадил и одного из тех друзей, которые выручали его самого из крепостного состояния. Шевченко, пожалуй, знал стишки своего сановного друга, Василия Андреевича Жуковского, о той же царице:

Ещё — и робкая стыдливость под сиянием венца,  
И младенческая живость, и величие лица,  
И в чертах глубокость чувства с безмятежной тишиной,—  
Всё в ней было без искусства неописанной красой...

Жуковский писал вот так, а царица, и точно, ходила, словно тень, нервные конвульсии вынуждали её трясти головой и строить гримасы.

*К стр. 17*

В дневнике Тараса Шевченко так описан этот обед: «12 апреля. Снег, слякоть, мерзость. Невзирая на всё это, отправились мы... в Академию смотреть выставку. Во избежание простуды завернули к Смурову, выпили по рюмке джину и проглотили по десятку устриц. С выставки пошли мы на званый обед к графине Настасии Ивановне, данный ею своим близким многочисленным приятелям по случаю моего возвращения. За обедом граф Фёдор Петрович сказал коротенькое слово в честь милостивого царя. А в честь моего невольного долготерпения сказал почти либеральное слово Николай Дмитриевич Старов. Потом Шербина и, в заключение, сама графиня Настасия Ивановна. Мне было и приятно, и вместе неловко. Я не чаял себе такой великой чести. Для меня это было совершенно ново... За столом все были бледны, тощи и зелены, кроме несчастного изгнанника, т. е. меня. **Забавный контраст**».

*К стр. 32*

На допросе в Третьем отделении все тарасовы друзья отреклись от него. О стихах его Костомаров сказал: «Сочинения эти я держал более для языка, но разделять гнусных мыслей в этих изложениях я не мог никогда». Это звучало всё же искренне. П. А. Кулиш говорил о том же туманнее и длиннее: «Просматривая теперь эти сочинения, я вижу с ужасом, что в них многое кажется злонамеренным. Но беру гóспода во свидетели, что я никогда не питал преступного желания возмущать умы своих земляков против законного и правительства».

*К стр. 40*

Ещё в годы юности отсюда любовался поэт видом противоположного берега. Воспоминание об этом сохранилось в повести «Художник». «Особенно мне нравилось это место, когда Нева спокойна и, как гигантское зеркало, отражает в себе со всеми подробностями величественный портик Румянцевского музея, угол Сената и красные занавеси в доме графини Лаваль. В зимние длинные ночи этот дом освещался внутри, и красные занавеси, как огонь, горели на тёмном фоне, и мне всегда досадно было, что Нева покрыта льдом и снегом и декорация теряет свой настоящий эффект».

*К стр. 52*

Ещё на военной службе барон П. К. Клодт фон Юргенсбург (1805—1867) привлёк своими статуэтками внимание императора Николая и с тех пор пользовался его высоким покровительством. В «Определениях» совета Академии записывалось не раз, что «государь император был весьма доволен представленными бароном Клодтом моделями». Первым выдающимся произведением П. К. Клодта была колесница для Нарвских триумфальных ворот; за скульптурные группы на Аничковом мосту Клодт получил в 1840 году общее признание. В. А. Жуковский называл скульптора Клодтом Фидиасовичем, наследником самого грека Фидия

*К стр. 53*

В ссылке вычитал Шевченко в столичной газете «Северная пчела» заметку об открытии этого памятника; репортёр объяснял, что «основание, на котором утверждена статуя, представляет по сторонам басни И. А. Крылова, изображённые в виде животных, в них описанных. Весь памятник больших размеров поражает своею красотою и теперь постоянно привлекает к себе любопытствующих».



*К стр. 54*

Александр Калам (1814—1867) — швейцарский художник, пейзажист, гравёр, в своё время очень популярный в России. В 1845 году императорская Академия художеств пожаловала его званием «почётного вольного общника».

*К стр. 61.*

Об Ф. И. Иордане (1800—1883) Шевченко записал в дневнике: «Он слышал о моём намерении заняться акватинтой и предложил мне свои услуги в этом новом для меня деле... Какой обязательный, милый человек и художник... Он мне показал в течение часа все новейшие приёмы гравюры акватинта... Я расстался с ним вполвину будущим гравёром».

*К стр. 62*

Сделав офортom контуры рисунка, лак приходится смывать, посыпать доску порошком канифоли, греть на огне, снова покрывать лаком и начинать всё сначала, чтобы получить не только штрихи, но и разной силы тона. После многочисленных покрываний лаками доску травят ещё не раз. Вот так работал Шевченко и над первой своей гравюрой. Работал осторожно, пользуясь слабыми кислотами, хлористым железом. Это ещё больше замедляло все процессы... На одном из оттисков сохранилась запись темпа его работы: первое травление — двадцать минут, второе — сорок и так — до ста шестидесяти. При этом всё время приходилось смывать лаки, делать оттиски, покрывать снова отдельные части доски, чистить её наждаком, посыпать зёрнами канифоли, подогревать...

*К стр. 65*

С. С. Гулак-Артемовский (1813—1873) работал тогда над оперой «Запорожець за Дунаєм». Он был племянником ректора Харьковского университета, украинского писателя П. П. Артемовского-Гулака. Вокальному искусству Семён Артемовский учился за границей — в Париже, затем в Италии. Два года с большим успехом пел во Флорентинском театре. Но больше двух лет не выдержал, соскучился по родным краям, по России... Возвратившись из Италии, он сразу же завоевал любовь зрителей. В газетах об Артемовском только и писали: «бесподобно», «необыкновенно», «восхитительно»... Его хвалил даже сам царь. Гениальный Глинка говорил, что лучшего мужского голоса не слышал никогда. Особенно очаровало композитора исполнение Артемовским роли Руслана. Шевченко целиком разделял этот взгляд. В одном из пи-

сем он писал: «Та що за опера, так ну! А надто, як Артемовський співав Руслана, то так, що аж потилицю почухаєш — далєбі правда! Добрий співака, нічого сказати!» Но больше всего тронуло Тараса исполнение роли Чупруна в пьесе Ивана Котляревского «Москаль-чарівник». Об исполнении Артемовским роли Чупруна даже сам Кулиш, за год до описанных здесь событий, выступил в «Русском вестнике» с похвальной статьёй.

К стр. 75

Одного из таких крепостных художников, который вынужден был стать лакеем, ученика известного скрипача Шпора, Тарас Григорьевич встретил однажды в имении какого-то магната и описал затем в повести «Музыкант». Другого музыканта — буфетчика на пароходе «Князь Пожарский» — описал поэт в своём «ежедневном журнале», когда возвращался по Волге из многолетней ссылки:

«27 августа. Ночи лунные, тихие, очаровательные, поэтические ночи! Волга, как бесконечное зеркало, подёрнутая прозрачным туманом, мягко отражает в себе очаровательную, бледную красавицу ночи...

Восхитительная сладко-упонительная декорация! И вся эта прелесть, вся эта зримая немая гармония оглашается тихими, задушевыми звуками скрипки. Три ночи сряду этот вольноотпущенный чудотворец безвозмездно возносил мою душу к творцу вечной красоты пленительными звуками своей лубочной скрипки... Благодарю тебя, крепостной Паганини, благодарю тебя, мой случайный, мой благородный! Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный, глубокий стон миллионов крепостных душ. Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового духа, наш праведный, неумолимый, неублажимый боже?.. Под влиянием скорбных волирующих звуков этого бедного вольноотпущенника пароход в ночном погребальном покое мне представляется каким-то огромным, глухо ревающим чудовищем с раскрытой огромной пастью, готовую поглотить помещиков-инквизиторов. Великий Фультон! И великий Уатт! Ваше молодсе, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрёт кнуты, престолы и короны, а дипломатам и помещикам только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное гениальное дитя. Моё пророчество несомненно».

Правилам управления императорского Эрмитажа разрешалось допускать в залы музея учёных и литераторов «для справок и изучения некоторых предметов». Кроме того, пускали тех, кому именные билеты выдавала придворная контора или одно из управлений Эрмитажа.

*К стр. 88*

Тургенев затем так описывал внешность Тараса: «Широкоплечий, приземистый, коренастый Шевченко являл собой весь образ казака, с заметными следами солдатской выправки и ломки. Голова остроконечная, почти лысая; высокий морщинистый лоб, широкий, так называемый «утиный» нос, густые усы, закрывавшие губы; небольшие серые глаза, взгляд которых, большею частью угрюмый и недоверчивый, изредка принимал выражение ласковое, почти нежное, сопровождаемое хорошей, доброй улыбкой; голос несколько хриплый, выговор чисто русский, движения спокойные, походка степенная, фигура мешковатая и мало изящная. С высокой бараньей шапкой на голове, в длинной тёмносерой чуйке, с воротником из чёрных мерлушек, Шевченко глядел истым малороссом, хохлом. Вот какими чертами запечатлелась у меня в памяти эта замечательная личность».

*К стр. 96*

Щербина, Николай Федорович (1821—1869), известный русский поэт, воспевавший в своих «Греческих стихотворениях» гармоническую цельность жизни в древней Элладе. Эта книга прославила его.

Щербина прославился ещё больше своими ядовитыми сатирами и эпиграммами. Он колот острым и часто несправедливым словом — и Аполлона Майкова, и Островского, и врагов, и друзей... Писал злые пасквили и на доброжелательного своего критика Н. Г. Чернышевского.

Ещё в 1857 году Чернышевский писал, что «до сих пор г. Щербина не решился ещё предаться безвозвратно, без оглядок на древний мир, влечению жизни и таланта. Он давно почувствовал, что в Петербурге или Москве неудобно и холодно носить хитон афинянина... Держитесь непринужденнее, говорите проще, забудьте о стеснительных претензиях на величие, не стыдитесь являться просто человеком, а не олимпийцем».

О Щербине Катерина Толстая вспоминала впоследствии с большим уважением: «Мало кто знал его душевные качества, его трагическую внутреннюю жизнь... Он был весь будто изранен, весь окровавлен в середине; и чем

сильнее подымалась в нём боль, тем веселее и ядовитее лились его остроты и громче гремел гомерический хохот его слушателей... Как только появлялся Николай Фёдорович, все занятия прекращались, художники бросали кисти, старички — карты, дети — игрушки, подле него создавался тесный круг, и до утра лились самые оригинальные, самые фантастические импровизации. Здесь затрагивалась и политика, и литература, все «злобы дня», рисовались карикатуры нравов, рассказывались смешнейшие анекдоты, часто о присутствующих, но в них было столько комизма, что никто не обижался. Напечатанные вещи его не дают и понятия о блестящих его рассказах... Такого хохота, какой звучал среди его слушателей, право, мне не приходилось потом слышать: хохотали до изнеможения, до боли, а на его лице не появлялась даже никогда и улыбка, он говорил совершенно серьезно... За этим вот игривым рассказчиком проглядели все страждущего человека и вдохновенного поэта... Бывают люди, к которым всю жизнь судьба несправедлива: к таким принадлежал и Щербина, и неудивительно, что он стал мизантропом... Часто отец мой и мать выговаривали ему... тогда он раскрывал перед нами свою наболевшую душу... все стремления, к которым закрыта была дорога, всё то, что принуждало его ощетиниваться против людей и углубляться в самого себя. То было как раз время конца пятидесятых годов, честное время, но жестокое».

*К стр. 106*

Ещё за год-два до описанных событий цензоры запрещали печатать раздел ботаники о ядовитых грибах, потому что они есть «постная пища русского народа». Вычёркивались повсюду такие слова, как «силы природы»! Из поваренной книги изымали совет «клясть пироги на вольный дух» и т. д.

«Вольный дух!» А какой же действительно вольный дух был в маленькой книжечке, изданной ещё в 1840 году, в «Кобзаре» Тараса Шевченко!

\*\* В. А. Долгоруков (1804—1868) — «главный начальник всех доносчиков в России», как называл его Герцен, начальник «Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии»; он начал свою карьеру с 1825 года, отличившись во время событий на Сенатской площади.

Шевченко ещё весной, вскоре после возвращения в столицу, записал в своём дневнике: «По желанию гра-

фини Настасии Ивановны, представлялся шефу жандармов кн. Долгорукову. Выслушал приличное случаю, но вежливое наставление, и тем кончилась аудиенция».

*К стр. 119*

Книги для Тараса были хлебом насущным. В мае 1857 года, ожидая официального письма о своём освобождении, он писал друзьям: «Читаю по одному листочку в день биографию Гоголя (написанную, кстати сказать, Пантелеймоном Кулишом); читаю та й боюся: може й по листочку не стане, поки прийде той одпуск...»

В одной из повестей Шевченко писал:

«Надо сказать вам, что книги мне нужны, как хлеб...»

Возвращаясь из ссылки, Тарас Григорьевич записал в дневнике: «Мне теперь много нужно прочитать. Я совершенно отстал от новой литературы. Как хороши «Губернские очерки»... Салтыкова... Я благоговею перед Салтыковым!.. О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какую радость возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мой, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного бессловесного смерда!»

*К стр. 137*

М. Т. Номис (Симонов) — известный фольклорист, автор классического сборника «Українські приказки, прислів'я і таке інше» (СПБ, 1864, в друкарні Тіблена і комп. П. Куліша).

*К стр. 155*

Вот как говорил потом Герцен о великом украинском поэте: «Он тем и велик, что он совершенно народный писатель, как наш Кольцов, но он имеет гораздо большее значение, чем Кольцов, так как Шевченко также политический деятель и являлся борцом за свободу».

*К стр. 158*

Года через два (11 января 1860 года) Маркс писал Энгельсу: «По моему мнению, самые великие события в мире в настоящее время — это, с одной стороны, американское движение рабов, начавшееся со смерти [Джона] Брауна, с другой стороны — движение рабов в России».

*К стр. 167*

«И чем далее, — писал Тарас про Обеременко, — более узнавали мы друг друга и более привязывались друг

к другу. Но наружные отношения наши оставались те же самые, что и в первое наше свидание.

Он себе не позволял ни одного шагу наружного сближения, ни тени ласкательства, как это делали другие... Независимо от его простого благородного характера, я полюбил его за то, что он в продолжение двадцатилетней солдатской пошлой гнусной жизни не опошил и не унизил своего национального и человеческого достоинства. Он остался верным во всех отношениях своей прекрасной национальности. А такая черта благородит и даже неблагородного человека... Пошли же тебе, господь, мой неизменный друже, скорый конец испытанию. И помоги тебе пресвятая мать всех скорбящих — пройти эти безводные пустыни, напиться сладкой Днепровой воды и вдохнуть в измученную грудь живительный воздух нашей прекрасной, нашей милой родины».

*К стр. 172*

Через некоторое время в «Колоколе» появилось письмо к Герцену, подписанное псевдонимом «Русский человек». Есть основания предполагать, что автор его — Н. Г. Чернышевский. Письмо заканчивалось так: «Наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет!.. Другого спасения нет. Вы всё сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь!»

*К стр. 182*

Об В. Ф. Адлерберге (1791—1884) Тарас Шевченко в Нижнем-Новгороде записал в дневник (1 марта 1858 года): «На имя здешнего губернатора от министра внутренних дел получена бумага о дозволении проживать мне в Петербурге, но всё ещё под надзором полиции. Это работа старого распутного японца Адлерберга...»

Этот самый «японец» был когда-то адъютантом царя Николая, затем министром двора — при Николае Павловиче и при Александре Втором, — и слава о его распутстве пошла по всей России. Вспоминал его часто и Герцен в своём «Колоколе». «Как не гадко Александру Николаевичу в этом обществе? Вот что значит плохое воспитание и дурные привычки. Конечно, и Христос был распят между Паткулями и Адлербергами. Но ведь он был распят, а кутить с ними, с шапкой Мономаха набекрень не хорошо...» Так обращался Герцен к адлербергову приятелю, царю Александру Второму.

Добролюбов так рассказывал о министре двора, о начале его карьеры: «Мать Адлерберга была начальницей Смольного монастыря в то время, как Николай был ещё легковерен и молод. Пользуясь близким родством с начальницей и имея, таким образом, свободный вход в монастырь, молодой Адлерберг позволял себе довольно много с молодыми девицами и, чтобы обеспечить вполне свой успех, предложил свои услуги Николаю Павловичу. Оба они и начали охотиться в монастыре, а матушка Адлерберга облегчила им победы, устраивала свидания и тому подобное. После этого, по воцелествии Николая на престол, Адлерберг исполинскими шагами пошёл по пути почестей...» Рассказывал Добролюбов и о театральныx воспитанницах, становившихся достоянием императора Николая, Адлерберга и Гедеонова, директора императорских театров.

*К стр. 194*

Все эти «арапы» были белолицыми. «Арап» — такая была уж официальная должность при дворе, и часто в этом звании выходили в отставку дворцовые лакеи, трубочисты, истопники, потому что «арапский» пенсиян был вдвое большим, а лицо у арапов оставалось «какое бог дал»...

*К стр. 199*

К тому самому Делянову, который стал со временем министром просвещения. От него же потом имели всяческие неприятности такие люди, как Менделеев, Бородин, Гаршин. Он же издал и пакостный закон о «кухаркиных детях», запретил высшее образование для женщины, установил процентную норму для евреев...

Он же отказал уволенному студенту В. И. Ульянову принять его обратно в Казанский университет.

*К стр. 203*

В многочисленных газетах, журналах и листках, издававшихся тогда в Питере, всюду встречалось имя великого трагика. Вначале «к какому-то негру» большинство газет относилось весьма игриво. В «Золотом руне», газете «частной промышленности, фабричного дела и хозяйства, а также политики и литературы», в разделе театральныx новостей, сначала упоминалось, что «африканский трагик Айра «приводит в ужас любопытных...» Но вскоре в этой же самой газете появилась и рецензия на «Отелло»: «В третьем акте Отелло жадно прислушивался к речам Дездемоны и поймал невинно произнесённые слова: «Я люблю Кассио», он содрогнулся только,

и с ним задрожали зрители, от оркестра и первого ряда кресел до галлерей...»

Похвальные рецензии были и в других газетах и журналах столицы: в «Санкт-Петербургских ведомостях», в «Северной пчеле». Некоторые писакки пытались острить, что, мол, «Общество поощрения артистов» вынуждено посылать кровожадного Олдриджа — перед началом каждого спектакля — на два часа к местному укротителю зверей, чтобы уберечь артистов, играющих с ним, от синяков и вывихов».

Об Олдридже писали ещё, что это — «дикая чёрная плоть в серьгах и блестящих бляхах, позорящая дух современного искусства... Толстые синие губы, именно потому что они синие и толстые, выразят вернее вопль человеческой души? В африканский лес, а не в театр!»

На это другие газеты отвечали: «Зачем бросать грязью в человека, до которого она никогда не долетит?»

*К стр. 206*

Царь Николай, заметив как-то в Эрмитаже посетителей в сюртуках и «найдя сие неприличным», приказал пускать в галлерею: военных, получивших в придворной конторе билеты, в мундирах, а штатских — по таким же билетам — во фраках, и только именитые купцы могли иногда приходить, по особому разрешению, в сюртуках.

*К стр. 219*

На книге есть дата издания: 1859. Но из печати вышла она, надо полагать, ещё в конце 1858 года. Об этом свидетельствует упоминаемое в тексте нашей повести письмо выдающегося ботаника, историка, этнографа и археолога проф. М. А. Максимовича (1804—1873), датированное 1 декабря 1858 года. Кроме того, всем известен обычай старых издателей помечать книги, выпущенные в конце года, датой года наступающего.

*К стр. 224*

В таких вагонах впервые в жизни ехал Шевченко весной 1858 года из Москвы. Дорога была построена за несколько лет перед его возвращением из Азии. Всё удивляло Тараса, горячего любителя машин. И высокотрубный локомотив и две платформы — между тендером и вагонами, — гружённые мешками опилок. Платформы прицеплялись к поезду на случай катастрофы: инженеры полагали, что выброшенные из открытых вагонов пассажиры по инерции должны будут лететь вперёд и падать на мягкую подстилку.



В первом номере «Искры», вышедшем 1 января 1859 года, редакция сообщала: «На нашу долю выпадает разработка общих вопросов путём отрицания ложного во всех его проявлениях в жизни и в искусстве. Этой задачей объясняется характер комизма, составляющего специальность нашего издания... Средством достижения нашей цели будет сатира...»

\*\* Звание «академика по части гравирования» Шевченко получил в 1859 году. 16 апреля в «Определениях» совета Академии записано: «По прошению гравёра Т. Шевченко (№ 676), при котором представляя две исполненные им гравюры, просит удостоить его по оным звания академика или задать программу на получение этого звания, определено: Шевченко по представленным гравюрам признать назначенным в академики и задать программу на звание академика по гравированию на меди».

Второго сентября 1860 года Тарас Григорьевич Шевченко стал действительным академиком:

«...4. Определено: во уважение искусства и познаний в художествах, доказанных исполненными работами, по заданным от Академии программам и другим известным трудам признать академиками по архитектуре назначенного в академики Петра Викентьевича Карлони... и по гравированию Тараса Шевченко».

---

Обложка художника  
*Н. В. Ильина*

Гравюра работы  
*В. К. Федяевской*

Редактор *Э. Кульманова*

Подписано к печати 5/1 1945 г.  
А-13028. Тираж 25 000 экз.  
7<sup>1</sup>/<sub>4</sub> печ. л. 10 уч. авт. л. Заказ № 468  
Цена 4 р.

---

3-я типография «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР. Москва, Красно-пролетарская, 16.